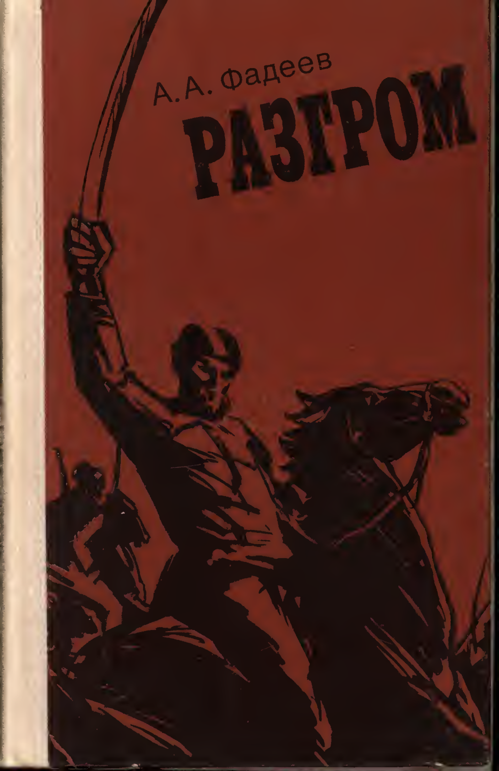

А. А. Фадеев
РАЗГРОМ



А. Фадеев

РАЗГРОМ

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1980

Р2
Ф15

ВСЕРОССИЙСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
«МУЖЕСТВО».

Издается по решению
коллегии Госкомиздата РСФСР
для строителей
Байкало-Амурской магистрали
и тружеников ударных строек
Сибири и Дальнего Востока.

Текст печатается по изданию:
А. Фадеев. М., «Художественная литература», 1976.

Ф $\frac{70803-087}{М158(03)-80}$

О революции, коллективе и человеческой личности

Когда обращаешься к произведению более чем сорокалетней давности, невольно возникают вопросы: а не исчезла ли со временем острота проблем, поднятых художником, сохраняют ли его образы силу воздействия на читателей?

«Разгром» был задуман в первые послеоктябрьские годы; в памяти писателя были еще свежи события гражданской войны на Дальнем Востоке, в которой он активно участвовал. «Основные наметки этой темы появились в моем сознании еще в 1921—1922 годах»,— сообщал Фадеев. Отдельным изданием произведение вышло в 1927 году и сразу вызвало острейшую дискуссию, о которой поучительно вспомнить и сегодня.

Сразу в нескольких критических статьях книга была высоко оценена. Ее называли «произведением большого идейного и художественного масштаба», приветствовали устремленность писателя к «углубленному психологизму», говорили о том, что «вся вещь целиком находится в плане подлинного искусства», что ее «героем является эпоха и борьба». Значительность произведения молодого Фадеева одним из первых отметил Максим Горький, он относил «Разгром» к числу книг, дающих «широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны».

Фадеевский подход к действительности многими в литературных кругах был принят доброжелательно. Многими — но не всеми. Полемику вызвала сама суть

художественных принципов писателя. Речь шла не только непосредственно о «Разгроме», но и о перспективах дальнейшего развития нашей литературы.

Если сейчас говорят, что в той или другой книге хорошо изображен внутренний мир героев, их психология, то все мы без колебаний воспринимаем такое заявление как признание заслуг писателя: а как же иначе? Но так было не всегда. В годы, когда впервые появился «Разгром» Александра Фадеева, критик в рецензии на произведение мог отметить реалистическое изображение психологии героев, их «душевных конфликтов» — и... именно это поставить в упрек автору, именно на этом основании объявить такое произведение вредным и ненужным. Один из литераторов и обрушился на «Разгром» как раз за его «психологический реализм», недвусмысленно назвавши свою статью «Против психологизма». А в другой статье, посвященной «Разгрому», категорически утверждалось, что задачи литературы — «давать не людей, а дело, описывать не людей, а дело, заинтересовывать не людьми, а делами». «Человек для нас ценен не тем, что он переживает, а тем, что он делает». Неправомерность такого противопоставления тогда далеко не для всех была очевидной.

Само по себе реалистическое исследование психологии людей не было, конечно, открытием Фадеева. Советская литература получила в наследство от литературной классики гениальные образцы художественного исследования диалектики человеческой души. И если бы Фадеева критиковали за то, что иногда его интонации в чем-то слишком уж повторяют интонации Льва Толстого (как в других случаях — интонации раннего Горького), то с этим, пожалуй, и не стоило бы спорить. Но в укор писателю ставили не чересчур прилежное следование отдельным чертам стиля классиков, их манере. Нет, некоторые критики в принципе отвергали всякий психологизм.

Фадееву вовсе не была чужда задача «описывать... дела», «заинтересовывать... делами» — деяниями его эпохи, борьбой трудового народа. Но это художественное утверждение народного дела ни в коей мере не противоречило вниманию к отдельному человеку и к «тому, что он переживает». Напротив! Вся суть как раз в том, что смысл этого общего дела — именно в человеке, в лично-

стн, в созданнн условнй для нанбольшего расцвета индивидуальностн каждого нз мнллнонов трудящнхся. Поэтому можно лн было предавать анафеме нсследованне человеческой душн!

Вот о чем, в сущностн, шел спор, а не об отдельно взятых художественных прнемах.

Защнтннкам такого нскусства, где «нет отдельных «героев», а существует лншь *единый* гнгантскнй *«вещественный»* герой, какая-ннбудь отрасль труда, продукт человеческой работы», казалось, что развнтне лнчности, культнвнрованне вннмання к тончайшнм оттенкам чувств человека грознт ннднвндуалнзмом, протнвостонт вннманню к обществу, вредно для общества, антнсоцнально. На самом же деле, чем глубже, ннтереснее, многограннее, талантлнвее человек, лнчность, ннднвндуальность, чем больше вннмання уделяется всестороннему развнтню ннднвндуальных качеств лнчности, тем нужнее она обществу, тем интереснее она коллектнву, тем больше она может дать человечеству, нначе говоря — *тем «социальнее»* эта лнчность. И в то же время для нее самой важна эта связь с обществом: чем больше ннтей связывает данного человека с народным делом, с другнмн людьмн, помогающнмн ему н поддержнвающнмн его, тем его лнчность будет богаче н снльнее, тем свободнее человек будет орнентнроваться н действовать в окружающем его мире.

Проблематнка «Разгрома» явственно переклнкается с нашей современной постановкой проблем гуманизма, отношення к человеку, взанмодействня человека н человечества. Она равно протнвостонт как анархнческой трактовке «свободной лнчностн» в отрыве от исторической практнкн народа, так н казарменно-уравннтельному подходу к массам, стремленню прнкрыть фразамн о революцнонном деле пренебреженне к человеку.

Однн нз главных героев «Разгрома», партнзанский командир Левннсон, так формулнрует для себя первоочередную задачу: сохраннть свой отряд как боевую еднннцу. Чнтатель, однако, вндит, что конечная цель н зрнмый результат уснлнй героев, нх борьбы — не только в этом, но н в нзмененнн человеческой лнчностн н взаимоотношеннй людей. Отряд хотя н сохранен, но лншь ценою большнх, невозместнмых потерь; н тем не менее у чнтателя крепнет ощущенне неоспорнмого завоевання

революции: они уже формируются, черты того «нового, прекрасного, сильного и доброго человека», о котором так мечтает Левинсон.

Всем тоном повествования автор как бы заранее предупреждает нас, что поведет речь о событиях трагических, мы ощущаем атмосферу постоянной и страшной опасности, в которой живет отряд, еще задолго до того, как он вступит в открытые столкновения с интервентами и белоказаками. Да ведь и называется произведение «Разгром». И тем яснее оттеняется идея великой, ни с чем не сравнимой победы — победы революционного гуманизма. Можно где-то потерпеть тяжкие военные или иные неудачи, но есть ценность, которой не грозят в конечном итоге никакие разгромы: это рождаемое самой историей новое единение людей, раскрепощающее и закаляющее человеческую личность в борьбе за цели народа.

«Роман «Разгром» по своему сюжету был очень несложным,— комментировал произведение сам Фадеев.— ...Вы видите постепенное, ровное изложение всех столкновений отряда, какие происходят от начала разгрома его и кончая последним его прорывом сквозь кольцо белых. За этот короткий отрезок времени проявляются и формируются основные качества разных людей. Благодаря стойкости таких людей, как Левинсон, Бакланов, у читателя романа и после разгрома отряда остается сознание и ощущение силы революции».

Конечный и главный смысл боев, которые ведет отряд,— в утверждении человеческих ценностей, ведь и сама революция — для человека, для его счастья. Да и у Левинсона, кроме задачи военной, есть еще и программа-максимум, связанная с его жаждой нового, прекрасного, сильного и доброго человека, хотя ему не всегда удается до конца выразить ее: «...Он чувствовал, что нужно было бы говорить о чем-то другом, более основном и изначальном, к чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже осмысленного и решительного действия».

С мыслью о социальной значимости каждого отдельного человека в революции связаны в «Разгроме» самые определяющие особенности его поэтики. В произведении

нет какого-либо одного главного драматического события, одного конфликта, который бы играл цементирующую роль для всего произведения. Не будет преувеличением назвать его драматизм психологическим: судьба отряда в повести раскрывается не столько во внешних, сколько во внутренних, психологических столкновениях и сопоставлениях.

Образная система «Разгрома» определена прежде всего соотношением, связью, слитностью двух моментов: с одной стороны, автору книги свойственно глубокое внимание к формированию и выявлению качеств характера отдельного человека, с другой — умение увидеть в этих частных изменениях, порой незаметных движениях души, свойства эпохи, увидеть связь частного и общего, личности и массы, человека и коллектива. Причем большие, обобщающие мысли о человеке и массе в революции выражены в небольшом по объему произведении — очень емко, чрезвычайно компактно. Мы видим людей из одного партизанского отряда. Этот отряд рассматривается Фадеевым отнюдь не как механическое соединение отдельных человеческих песчинок, а как сложное и своеобразное единство интереснейших индивидуальностей.

Всмотримся в героев «Разгрома» и в его сюжет.

Мысль обо всем отряде в целом, обо всех его людях вместе становится в «Разгроме» своеобразным сюжетообразующим стержнем, что можно проследить на протяжении всего произведения.

Посмотрим, как это реализуется в главах, посвященных Метелице. Главы, рисующие судьбу этого героя, стоят в композиции «Разгрома» несколько особняком. Так случилось потому, что сначала Метелица был задуман как «самая десятистепенная фигура»; только в процессе работы над романом писатель увидел необходимость укрупнить эту фигуру, и Метелица выдвинулся в число основных героев. «Если бы я продумал это раньше,— объяснял сам Фадеев,— я уже в первых частях романа остановился бы больше на образе Метелицы. Перестраивать все заново уже было поздно, и потому эпизод с Метелицей в начале третьей части резко выделился, несколько нарушив гармоничность произведения». Тем более показательно, что даже и здесь, несмотря на всю свою поглощенность фигурой Метелицы, автор по-

мнит и заставляет помнить читателя о судьбе всего отряда, всех партизан, поэтому основное русло повествования не прерывается, а главы о Метелице, давая нам развернутый образ этого героя, тем не менее не превращаются в отдельный и самостоятельный рассказ о нем, они являются частью большого сложного единства. Преимущественное же внимание к одному герою, прорвавшееся здесь неожиданно для самого писателя, приобретает особый интерес для современного читателя со свойственной ему, столь характерной для нашей жизни убежденностью в важности человеческой личности, каждого отдельного человека в его неповторимости.

Судьба Метелицы, его характер захватывают автора и заставляют его погрузиться в переживания героя.

Метелица идет в разведку. Что его ждет? С кем он встретится? Ничего не известно. Читатель «Разгрома» вместе с автором напряженно следит за поступками этого человека, который «весь... огонь и движение», человека, горячая голова которого «не боится больших пространств и не лишена военной сметки».

Глава называется «Разведка Метелицы», и сам стиль повествования как бы передает дух разведки. Здесь все внезапно, все непредвиденно: «Кусты вдруг оборвались...», «как вдруг увидел перед собой...», «вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме», «как вдруг лицом к лицу столкнулся...» Эти постоянные неожиданности включают и нас в атмосферу разведки с характерным для нее ощущением постоянной смертельной опасности. Фадеев смотрит на жизнь глазами своего героя, и психология героя становится нам близкой и понятной. Из всех обстоятельств, нежданно-негаданно встающих перед нами, разведчику нужно сделать верные выводы, нужно быть очень осторожным: он все время должен что-то угадывать и сопоставлять. Поэтому форма предположений становится одним из компонентов стиля этой главы. Сначала это сказывается в манере повествования о Метелице, в так называемой несобственно прямой речи, когда автор размышляет как бы вместе с героем, подходит ко всему с его точки зрения: «Верстах в двух, *должно быть,* возле самой реки...», «*Как видно,* там пролегало старое речное русло...», Метелица остановился около «омшаника, *как видно,* давным-давно заброшенного». Все эти «должно быть» и «как видно» пе-

редают настороженность героя, целенаправленность каждого его действия, острое желание безошибочно определить, как надо действовать. Нервы его натянуты до предела, и не случайно он «встрепенулся», когда пастушонок упомянул о белоказаках. Из авторского повествования форма предположений переходит в прямую речь героя, еще более усиливая драматизм, уже впрямую включая нас в мир ощущений и мыслей разведчика. «Болото там, *не иначе*»,— подумал Метелица». И через некоторое время: «Как угадал»,— подумал Метелица, вспомнив свои предположения».

Автор погружен в переживания героя, он и окружающую природу видит глазами разведчика. Вот он смотрит на сопки, густо чернеющие «на фоне неласкового звездного неба», и как совершенно естественное воспринимается это необычное сочетание: небо звездное — и одновременно «неласковое». Именно для разведчика звездное небо вдруг оказывается «неласковым», ведь при ясном небе разведчика легче обнаружить.

Такое проникновение автора в мысли и чувства героя, такая авторская «зараженность» переживаниями героя приковывают внимание читателей к психологии Метелицы, максимально приближают героя к ним. Но это мастерство проникновения в психологию одного человека связано, как мы увидим, с размышлениями автора о судьбе и других людей отряда.

Композиция повествования о разведчике с большой ясностью выявляет механизм взаимопроникновения частного и общего: описание подвига Метелицы не внешне, а органически срослось с описанием жизни отряда.

В главе «Разведка Метелицы» есть, казалось бы, все элементы композиции, свойственные законченному, самостоятельному произведению. В ней есть экспозиция, знакомство с обстановкой: Метелица осматривает местность, встречается с пастушонком. В ней есть завязка действия: разведчик, пробравшись к штабу белоказаков, подслушивает у окна разговор офицеров. Затем напряжение нарастает, ощущение опасности усиливается: глаза героя встречаются через окно с глазами офицера. И наступает первый кульминационный момент: герой сталкивается «лицом к лицу с человеком в казачьей шинели». «Стой! Держи его! Держи! Сюда!.. Эй! — закричало несколько голосов. Резкие, короткие выстрелы за-

трещали вслед». Наступает развязка этого эпизода: Метелицу поймали.

И тем не менее глава «Разведка Метелицы» не становится отдельным рассказом. Уже само ее окончание как бы прокладывает дорогу к новым главам: перед нами возникает весь партизанский отряд, мы видим «истомившихся партизан», дневального, Бакланова, Левинсона и других. Но и эта часть главы, как и ее начало, проникнута драматизмом напряженного ожидания: что с Метелицей, как пройдет его разведка? «Что случилось с Метелицей?» Эта мысль теперь целиком овладела им»,— говорится в романе о Левинсоне. И все остальные постоянно думают о разведчике, никто не хочет поверить, что Метелица попал в руки врага. Эта мысль, которая пронизывает как непосредственное изображение действий Метелицы, так и последующее изображение отряда, делает главу целостной и в то же время включенной в общую сюжетную линию, а ею является история отряда, история его жизни, внутренних его конфликтов и столкновений с врагом.

Ведь и судьба главного героя этой главы еще не решена в ней. В следующей главе — «Три смерти» — снова речь пойдет и о Метелице, и о других героях, и об отряде в целом. Именно там мы находим вторую, наиболее важную — героическую и трагическую — кульминацию, а также и развязку этой истории, и это еще больше укрепляет органическую связь всех компонентов романа. Вспомним, как избитого, с лицом, вымазанным кровью, Метелицу вывели на церковную площадь, полную народа, оцепленного со всех сторон конными казаками; к нему вытолкнули пастушонка, чтобы он опознал Метелицу, но мальчик не захотел выдать его, и тогда начальник белого эскадрона решил допросить маленького пастушонка «по-своему». Ужас людей усиливается. Напряжение нарастает. «В то же мгновенье чье-то стремительное и гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем,— начальник эскадрона упал, сбитый сильным толчком». Это Метелица бросился на спасение пастушонка.

Глава «Три смерти», начинающаяся описанием подвига и героической гибели Метелицы, связывает воедино историю его жизни и гибели и историю всего отряда, ведет читателя к мысли об общей цели борьбы бесстраш-

ного разведчика с лихим смолистым чубом и других партизан, о своеобразии гуманизма революции (ведь именно в этой главе решается проблема отношения к подлости и трусости, именно здесь Мечик, с одной стороны, и Левинсон вместе со всеми партизанами, с другой, занимают диаметрально противоположные позиции в отношении к «человеку в жилетке», который «пастушонка неволил» и понуждал его к предательству).

Такие особенности композиции, благодаря которым книга словно оставляет нас с глазу на глаз то с одним, то с другим человеком и в то же время не превращается в цикл рассказов об отдельных героях, характерны для «Разгрома» в целом.

Именами основных героев, состоящих в одном партизанском отряде, Фадеев назвал главы своей книги. Самая первая из них называется «Морозка», есть глава «Левинсон», есть — «Мечик», есть, как мы видели, глава о Метелице. Именно на этих четырех действующих лицах, вышедших на передний план уже в самом оглавлении, и сосредоточено больше всего внимание писателя. И все же ни один из героев, психология которых чрезвычайно важна автору, не становится единственно важным в развитии сюжета произведения, ни один из них не определяет сам по себе движения фабулы. Более того, даже если взять всех главных героев вместе, то и тогда мы не сможем еще по ним судить о том, что становится основой сюжета «Разгрома». Потому что самое важное в общем движении действия — судьба всего коллектива людей, судьба партизанского отряда. Именно процесс жизни всего отряда и конечный итог его борьбы становятся главной пружиной развития повествования.

Носителем общего, объединяющего, сплачивающего и организующего начала является в книге Левинсон.

Фадееву было очень важно художественно воспроизвести в «Разгроме» особый тип взаимоотношений коммуниста-руководителя с партизанами: «...На своем опыте партизанской борьбы я видел, что при больших элементах стихийности в партизанском движении решающую, организующую роль играли в нем большевики-рабочие,— говорил он.— Эту мысль... мне хотелось подчеркнуть в романе «Разгром».

Идея «обуздания» стихийности, идея необходимости руководства партизанщиной очень сильно выражена

прежде всего в образе Левинсона. Автор «Разгрома» впитал традиции, накопленные к тому времени советскими писателями в художественной трактовке проблемы стихийности и в изображении руководителей периода гражданской войны. Кожух у А. Серафимовича («Железный поток», 1924), Чапаев и Клычков у Дм. Фурманова («Чапаев», 1923), Пеклеванов у Вс. Иванова («Бронепоезд 14-69», 1922) и Строев у Б. Лавренева («Ветер», 1924) — все эти образы еще до «Разгрома» вошли в литературу, решая проблему соотношения стихийности и руководства. Не все писатели тогда обнаруживали в жизни бойцов гражданской войны столь резкие конфликты. Так, в «Первой Конной» Вс. Вишневского (1929) еще нет такого накала драматизма в сцене анархического бунта, какой мы найдем в «Разгроме» и какой впоследствии появится в лучшей пьесе самого Вишневского — «Оптимистической трагедии» (1933). В «Первой Конной» не очень верилось тому, как бурный анархический мятеж быстро стихает всего от нескольких слов рабочего. Не случайно комиссару в «Оптимистической трагедии» понадобился выстрел, чтобы остановить бесчинствующую толпу, а Левинсону в «Разгроме» приходится прибегнуть к угрозе маузером даже в менее напряженной обстановке.

Фадеев обостренно чувствует конфликты и прямо и открыто пишет о них. Он видит, в частности, что *коренные* классовые интересы людей могут подчас идти вразрез с их же частными, временными интересами, желаниями и представлениями. В глазах Фадеева Левинсон — средоточие именно главных, коренных интересов бойцов революции. В этом — своеобразие его особой одаренности, столь необходимой руководителю масс.

Одна из драматичнейших глав «Разгрома» — «Трясина». В ней обрисованы очень сложные взаимоотношения партизанского вождя и массы. Отряд Левинсона по пятам преследуют враги — «их там несметная сила». Отряд уходит в тайгу, но вдруг оказывается, что дальше идти некуда: впереди трясина. В этот тяжелейший момент масса людей и их руководитель оказываются неожиданно противопоставленными друг другу: «Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха,— пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести!»

Но все дело в том, что эта враждебность, это непонимание отнюдь не взаимны: для Левинсона эти люди «ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что... он чем-то обязан перед ними». Обязан,— ибо выражение их общего, определяющего, ведущего интереса составило смысл и пафос его жизни. Левинсон как бы отсекает в себе все остальное, поэтому его не обескураживает вспыхнувшая вражда к нему партизан,— он попросту не замечает ее, он ее тоже отметает, отсекает. Он только чувствует свои права и обязанности командира. Именно ответственность за отряд дает Левинсону особое озарение, дает возможность найти дерзновенное решение — проложить через болото гать — и воодушевить всех этим решением, превратить «людское месиво» в сознательный работающий отряд и снова стать вождем тех людей, которые только что были столь недружелюбны к нему.

Дар завоевывать уважение людей, свойственный Левинсону, проявляется по-разному — в зависимости от того, что за человек перед ним. Дубов, Сташинский, Гончаренко знают, каких усилий стоит Левинсону преодолеть свои собственные колебания, принять то или другое решение. Они уважают его за умение найти выход из собственных мучительных сомнений. Большинство же партизан вообще не подозревает об этих колебаниях. Он поэтому кажется им «человеком особой, правильной породы», который «все понимает», все делает, как нужно. Они стремятся быть похожими на него. Юный Бакланов, например, перенимает даже внешние манеры командира.

Однако было бы упрощением говорить только о влиянии Левинсона на окружающих. Потому что на самом деле в «Разгроме» раскрыто не одностороннее воздействие, а взаимовлияние. В финальной главе это становится особенно ощутимым. Больному и предельно усталому Левинсону, все силы отдавшему вызволению отряда из трясины, казалось, что «он... *не мог* уже ничего сделать» для партизан, для «измученных верных людей», казалось, «он уже не руководил ими». И вдруг все услышали выстрелы. Они прозвучали совершенно неожиданно и казались просто невозможными. Левинсон смог лишь беспомощно оглянуться. Что-то будет с отрядом, потерявшим руководство?

В этот момент Левинсон увидел наивное, мальчишеское, скуластое лицо Бакланова, горевшее «той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда».

Вдохновение молодого партизана передается командиру. Уже не Бакланов на него равняется, а он, Левинсон, на этого юношу: «На прорыв, да? — хрипло спросил он у Бакланова». Левинсон поднял сверкнувшую на солнце шашку, и весь отряд вздрогнул и поднялся, глядя на своего командира. «Бакланов... круто обернулся к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое, чего Левинсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение, подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставила его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним». Так уже Бакланов воодушевляет Левинсона. Посеянное возвращается сторицей.

В Левинсоне, по мысли Фадеева, фокусируются лучшие, самые перспективные и самые достойные черты других партизан. Не потому ли он — единственный из героев книги, позицию которого всегда разделяет автор, как бы ни подчеркивалась сугубая объективность изложения. Если в отношении к другим героям мы то и дело встречаем иронию, насмешку или добродушную улыбку, то по отношению к Левинсону этого нигде нет. Здесь повествователь и герой вровень друг другу, а иногда автор смотрит на Левинсона даже как на старшего, как на учителя. Для него Левинсон всегда прав, даже тогда, когда Фадееву, как видно, нелегко принять решение героя,— например, в случае с гибелью раненого Фролова. Да и вправду, всегда ли может человек, какой бы полнотой власти он ни обладал, решить за другого человека, способного мыслить и делать выбор, вопрос его жизни и смерти? Вправе ли Левинсон это сделать в данном случае? Ведь каким бы безнадежным ни казалось положение больного, кто может сказать, что не осталось ни одного шанса из тысячи, из миллиона? Не поставить эту проблему Фадеев не может. Но он гонит от себя сомнения, отдает их отрицательному герою, а сам, как и везде, полностью согласен с Левинсоном.

Будучи беспредельно преданным революции, Левинсон ради нее, когда нужно, ограничивает, сдерживает других, а в первую очередь себя самого. Он сознательно

подавляет те свои чисто личные чувства, которые могли бы отвлечь его от высокой, добровольно принятой на себя миссии; чувства эти охватывают его лишь в краткие моменты ночного затишья, когда он может вспомнить о письме жены и ответить ей. Все остальное время — он именно командир и представитель партии, которому люди «передоверили самую важную свою заботу», они обязали его думать о них и об этой заботе больше, чем о том, что ему самому «тоже нужно есть и спать». В этом самоотречении — сила героя. Однако в этом же — известная неполнота, ограничение проявлений души таких людей, и писатель, которому так важно было раскрытие личности человека, видел это.

В «Разгроме» ему очень хотелось дать героя, которому читатели могли бы подражать, который мог бы стать примером в жизни. Многие свойства характера такого героя Фадеев увидел в Левинсоне. Но, как говорил сам писатель, «для полноты изображения идеального характера потребовался такой образ, который воплотил бы в себе черты, отсутствующие в Левинсоне, который дополнил бы Левинсона». «Если бы Левинсон имел вдобавок к имеющимся у него качествам и качества характера Метелицы, он был бы идеальным человеком».

Да, в Метелице «била... неиссякаемым ключом» «необыкновенная физическая цепкость, животная, жизненная сила», «которой самому Левинсону так не хватало». Оттого Левинсон и испытывал «к этому человеку смутное влечение». Гибкий, стройный богатырь Метелица и внешне абсолютно не похож на Левинсона — маленького, тщедушного, «похожего на гнома», «с рыжей, длинным клином, бородой». Это различие портретных черт усиливает ощущение разницы в их отношении к жизни, в самом их мироощущении. Метелица живет так, как ему хочется, не ограничивая себя, не сдерживая свой размах, «слишком смелый полет... самостоятельной мысли». Эту слишком смелую стратегическую мысль Метелицы сдерживает, должен сдерживать командир отряда — Левинсон. Именно он, воспользовавшись жаркими прениями, незаметно подменил военный план Метелицы своим — «более простым и осторожным». Левинсон обязан это делать — он ответствен за всех, он не может подвергать людей неоправданному риску.

Фадеев и здесь, таким образом, соотносит, связывает

личное и общее, в центре его внимания — общественная ценность таких свойств личности, как, с одной стороны, естественность, порыв, раскованность жизни и, с другой — сознательное ограничение и самоограничение. Каждое из этих свойств является дополнением другого.

Весьма своеобразно, в движении, властно продиктованном развитием исторических событий, раскрывается соотношение этих качеств характера людей нового мира в сюжетной линии взаимоотношений Левинсона с другим героем — его ординарцем Морозкой.

Если тип коммуниста-руководителя уже задолго до «Разгрома» появился в советской литературе, то тип рядового бойца революции со всей сложностью его психологии, с тончайшими оттенками его чувств и переживаний, с его достоинствами и недостатками, с сознательной убежденностью в правоте своего дела, пожалуй, впервые так развернуто, с такой художественной силой и убедительностью обрисован именно в этом романе Фадеева. Запоминаются в «Разгроме» и другие партизаны, но первое место по своему реалистическому богатству занимает среди их образов, разумеется, образ Морозки.

У этого героя нет тех достоинств, которыми наделен Метелица, но и он тоже абсолютно естествен в каждом поступке, раскован в своем поведении. Оборотной стороной, или, если угодно, продолжением этой раскованности и естественности, является у него расхлябанность, близкая к хулиганству.

Вот Морозка, «приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке выпрямленным корпусом», плавно идет на рысях перед крестьянами, и автор разделяет здесь их восхищение всадником, не случайно в его собственную речь переходит выражение крестьян — «как свечечка». Он тоже с любовью следит за Морозкой, который едет по долине, «чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи».

И буквально сразу же, через один абзац, перед нами уже совсем другой Морозка. Уже ничего не осталось от его гордой посадки. Мы видим, как он, «воровато оглядевшись», оборвал чужие дыни, как «он испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении», как он побежал к лошади, «трусливо вбирая голову в плечи». Где уж тут молодцеватое «пламя свечи»! Но в этом контрас-

те как раз и зафиксировано автором одно из свойств характера Морозки — его неумение себя контролировать, неустойчивость его намерений и желаний, его бесшабашность, безотчетность многих его поступков. Впрочем, если мы вспомним, что всего несколько дней назад Морозка — тоже повинуясь безотчетному порыву — спас раненого, то станет ясно, что в бесшабашности героя Фадеев видит и добрую сторону.

Разными гранями оборачивается естественность Морозкиной натуры. В начале книги перед нами — разленившийся ординарец. Ему не хочется выполнять приказы, ему «надоели скучные казенные разъезды» и «никому не нужные» — так ему казалось — пакеты. Ни деловой собранности, ни напряженных раздумий, ни усилий воли. Недаром герой тут сопоставлен с его собственным конем, который «походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив».

Морозка здесь полностью погружен в таежную летнюю дрему, он сам становится как бы частью благостной, разморенной солнцем природы. В отряде все спокойно, кругом плывет «сытая таежная тишина», «окутанная смоляными запахами». Ощущение зноя то и дело поступает во множестве деталей: парнишка, караулящий овес,— «осоловелый» от жары, полыни у амбара — «обомлевшие», воздух, в котором слышны лишь кузнечики,— «раскаленный», травы под крестьянской косой — «пахучие» и «ленивые». Все это создает вначале полнейшее ощущение покоя, столь естественно впитываемое героем.

Но это не весь Морозка. Столь же естественно для него и другое. Когда взрывается сражениями таежная дрема, тогда — в схватках — Морозка становится иным, и тут уже с его обликом связаны довольно редкие в «Разгроме» патетико-романтические ноты. В одном бою Морозка летит, «распластавшись, как птица», в другом Фадеев видит его в образе какого-то легендарного всадника: «Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигура Морозки на оскаленном жеребце с развевающейся огненной гривой, промчавшаяся так быстро, что трудно было отличить, где кончался Морозка и начиналась лошадь». И до этого автор словно видит перед собою чудо-героя: перед Морозкой, «как в сказке», предстал конь, лишь только услышал его молодецкий посвист.

Левинсон ценит эти «молодецкие» качества характера Морозки — лихость и безоглядность. Сдерживая и пресекая Морозкино своеволие, он не только не желает разрушить вольное отношение к миру этого человека, но, наоборот, направляет его натуральные, действительно свободные стремления в более глубокое русло.

Сцена суда над Морозкой — одно из напряженнейших психологических звеньев в цепи сопоставлений его с Левинсоном. Внутренняя, подспудная параллель, соотносящая героев друг с другом, ощущается все время. Именно Левинсон устроил этот страшный для Морозки суд, и он же умно и незаметно снял нависшую над Морозкой опасность изгнания из отряда. Левинсон все время действует строго по своему плану. Морозка же, который «все делал необдуманно», испытывает результаты действий командира, сам того не замечая. Левинсон хочет добиться закрепления и развития всего лучшего, что есть в Морозке.

Непутевый и недисциплинированный боец мог «шкодить», мог напускать на себя «неприступно-наглое выражение» именно тогда, когда чувствовал себя неправым, мог трусливо размякнуть, когда у него отбирали оружие. Но вот он понимает, что его действительно могут выгнать из отряда. И он произносит клятву — неумело, трудно, «стыдясь перед мужиками». «Да разве б я... сделал такое... ну, дыни эти самые... ежели б подумал... да разве же я, братцы!..— вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влажным...— Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..»

За Морозкиной ораторской беспомощностью стоит такая преданность товарищам, в которую не поверить нельзя.

И эта преданность товарищам, без которых он не мог представить самого себя, которых он «ярко чувствовал... в себе»,— это ведь тоже совершенно органично для него, совершенно естественно. Даже он, самый несознательный из партизан, видит главный смысл происходящего. Он и сам говорит об этом: «Уйтить из отряда мне никак невозможно... Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..» Это понимание глубокой необходимости участия в борьбе — не холодно-рас-

судочиое, оно столь же естественио для него, столь же непосредственно, сколь естественны и другие его мысли. Это *его* революция, *его* борьба: «кашицу *мы* заварили»,— уверен Морозка.

Сами события заставляют его более зрело относиться к жизни. И когда он понимает, что Левинсон прав в своих требованиях к нему как к бойцу революции, тогда в его жизни появляется нечто новое: для его натуры оказывается отнюдь не чужеродным отречение от некоторых привычных желаний. Например, ему очень хотелось бы на переправе «попугать» для смеху и без того испуганных слухами о японцах крестьян. Но он, наоборот, стал помогать им, по собственной инициативе прекратил сумятицу у парома, разоблачил панические слухи, организовал переправу. И оказалось, что отказ от обычного озорства вдруг доставил ему столь же естественную радость, какую раньше доставляло шалопайство. Морозка радуется своим победам над собственным разгильдяйством, радуется, когда может наладить жизнь других людей, и от этого чувствует себя «большим, ответственным человеком».

Коллектив и личность — нерасторжимость этого единства отчетливо выявляется и в сопоставлении Морозки еще с одним из центральных персонажей «Разгрома» — Мечиком. Если характер Морозки в ряде эпизодов выражает психологию массы со всеми ее недостатками, унаследованными от старых времен, то индивидуальность Мечика, наоборот, предстает как бы дистиллированной, внутренне чуждой глубоким интересам народа, оторванной от него. В результате же и поведение Морозки, пока он не обретает черты самостоятельной личности, оказывается в чем-то антиобщественным, и Мечик губит не только товарищей, но и себя как личность.

Коренная разница между ними в том, что у Морозки в отличие от Мечика мы видим перспективу преодоления этой однобокости и путь к победе цельной и активной личности нового человека, коллективиста. Предательство Мечика в последней главе и подвиг Морозки во имя товарищей окончательно разделили этих двух героев, раскрыв их глубокую противоположность друг другу.

Сам автор в выступлении перед молодыми писателями так характеризовал Морозку в сопоставлении его с Мечиком: «Морозка — человек с тяжелым прошлым...

Он мог украсть, мог грубо выругаться, мог грубо обойтись с женщиной, очень многого в жизни не понимал, мог врать, пьянствовать. Все эти черты его характера, бесспорно, огромные его недостатки. Но в трудные, решающие моменты борьбы он поступал так, как нужно для революции, преодолевая свои слабости. Процесс участия его в революционной борьбе был процессом формирования его личности...

Мечик, другой «герой» романа, весьма «морален» с точки зрения десяти заповедей... но эти качества остаются у него внешними, они прикрывают его внутренний эгоизм, отсутствие преданности делу рабочего класса, его сугубо мелкий индивидуализм».

Да, наиболее остро Фадеев противопоставляет этих двух антиподов в те «решающие моменты борьбы», которые словно перечеркивают и возникшее было сначала чувство симпатии к Мечику, и критическое отношение к отрицательным проявлениям характера Морозки. Писатель оценивает не столько отдельные человеческие качества, сколько людей в целом: лучше уж человек с «огромными недостатками», но преданный рабочему товариществу, чем какой-нибудь индивидуум, до поры до времени «моральный», но способный в трудную минуту растеряться, всех подвести и погубить.

Такой ракурс отображения характеров, такая оценка людей в целом, когда одни их качества, так сказать, перекрываются другими, очевидно, неверно было бы считать единственно возможными в нашей литературе: правомерно и художественное вычленение тех или иных проявлений этих характеров, «отсеивание» ценного от ненужного и вредного. Да и само понятие «решающие моменты борьбы» в зависимости от меняющихся условий наполняется ведь разным смыслом, и — соответственно — разные черты характера приобретают первостепенное значение. В ходе созидания нового, социалистического мира пороки вроде тех, что свойственны поначалу Морозке, способны оказаться очень тяжелым балластом, а некоторые задатки Мечика могли бы как раз представить ценность для нового общества, если бы им могли помочь развиться в нужном направлении и, главное, если бы он сам их в себе не погубил.

Мечик постоянно отделяет себя от других и противопоставляет себя всем окружающим, в том числе и наи-

более близким из них — Чижу, Пике, Варе. Его желания почти стерильно очищены от внутренней подчиненности всему тому, что кажется ему некрасивым, с чем мирятся и что принимают как должное многие вокруг. И Фадеев поначалу даже сочувственно акцентирует это стремление к чистоте и независимости, это самоуважение, стремление сохранить свою личность, мечту о романтическом подвиге и прекрасной любви.

Однако осознание себя человеком, личностью, столь дорогое для Фадеева, в Мечике оказывается совершенно абсолютизированным, оторванным от общенародного начала. Он не чувствует своей связи с обществом, а потому при любом соприкосновении с другими людьми теряется — и перестает чувствовать себя человеком. Как раз то, что могло бы стать в Мечике наиболее ценным, начисто исчезает у него в сложностях реальной жизни. Он не в состоянии быть личностью, быть верным самому себе. В результате ничего не остается от его идеалов: ни столь желанного благородного подвига, ни чистой любви к женщине, ни благодарности за спасение.

Возможность предательства читатель может заметить в Мечике рано. Вот он в госпитале показывает медсестре Варе фотографию любимой девушки. В это время появляется Морозка — муж Вари, она, испугавшись, роняет карточку и потом, забыв о ней, наступает на нее ногой. А Мечику, который чувствует себя «как пришибленный», даже стыдно попросить, чтобы карточку подняли. Он предал свои собственные чувства. Не здесь ли начало его пути к страшной развязке, к моральному краху?

На Мечика никто не в состоянии положиться, он всех может подвести. Вот он мечтает о Варе, представляет себе, как она «говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будут совсем золотые, как полдень». Он понимает, что Варя действительно любит только его, а не Морозку, однако с приближением Морозки к нему все вдруг меняется. Радость внезапно улетучилась, и Мечик смотрит на Морозку «малодушными, уходящими внутрь глазами». И если бы дело было только в чувстве вины перед Морозкой — чувстве вполне понятном! Нет, Мечик стыдится любви Вари, боится кому-либо показать свою нежность к ней и в конце концов грубо отталкивает ее. Так из-за слабости совершается и еще один шаг по той дороге предательств, по которой

идет развитие характера Мечика в книге и которая позорно и страшно заканчивается двойным предательством: не сделав сигнальных выстрелов и сбежав с дозора, Мечик обрекает на гибель и своего спасителя Морозку, и весь отряд партизан. Так вырождается и вянет, не успев расцвести, та личность, которую не питают народные соки.

И наоборот, человек, ощущающий свое кровное единство с народом и творимой им историей,— такой человек обретает черты сильной, духовно богатой и цельной личности, без которой нет революции, нет социализма.

«Социалистический реализм,— писал Фадеев,— является естественным выражением новых, социалистических отношений и революционного мировоззрения», он призван «правдиво изобразить мир перестраивающийся, полный трудностей, противоречий...» И, характеризуя свое произведение, писатель говорил: «Какие основные мысли романа «Разгром»? Я могу их определить так. Первая и основная мысль: в гражданской войне происходит отбор человеческого материала, все враждебное сметается революцией, все неспособное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции, отсеивается, а все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, закаляется, растет, развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей».

Художественному утверждению этой закономерности и служит, как видим, и психологический анализ, и композиционные связи глав, и сюжет, и система сопоставлений героев — весь образный строй фадеевского «Разгрома», одного из наиболее значительных произведений советской литературы.

И. Дубровина

I. Морозка

Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце.

Ординарец Морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес.

— Свезешь в отряд Шалдыбы,— сказал Левинсон, протягивая пакет.— На словах передай... впрочем, не надо — там все написано.

Морозка недовольно отвернул голову, заиграл плеткой — ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего — нездешние глаза Левинсона; глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо.

«Жулик»,— подумал ординарец, обидчиво хлопая веками.

— Чего же ты стоишь? — рассердился Левинсон.

— Да что, товарищ командир, как куда ехать, сейчас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет...

Морозка нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальней: обычно называл просто по фамилии.

— Может быть, мне самому съездить, а? — спросил Левинсон едко.

— Зачем самому? Народу сколько угодно...

Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности.

— Иди сдай оружие начхозу,— сказал он с убийственным спокойствием,— и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо...

Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики.

— Обожди,— сказал Морозка угрюмо.— Давай письмо.

Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе, пояснил:

— Уйтить из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать — тем паче.— Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом докончил: — Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..

— То-то и есть,— засмеялся командир,— а сначала кобенился... балда!..

Морозка притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал:

— Я, брат, уже совсем к Варюхе в лазарет снарядился, а ты тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть...

Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе его — даже теперь, когда он говорил о жене,— скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки.

— Тимоша! — крикнул Левинсон осоловелому парнишке на крыльце.— Иди овес покарауль: Морозка уезжает.

У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами.

— Ты что, опять в отъезд? — спросил подрывник.

— Так точно, ваше подрывательское степенство!..

Морозка вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту.

— Вольно,— снисходительно сказал Гончаренко,— сам таким дураком был. По какому делу посылают?

— А так, по плевому; промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь.

— Дурак...— пробурчал подрывник, откусывая дратву,— трепло сучанское.

Морозка вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина: такие же ясные, зеленокарие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив.

— Мишка-а... у-у... Сатана-а...— любовно ворчал Морозка, затягивая подпругу.— Мишка... у-у... божья скотинка...

— Ежли прикинуть, кто из вас умнее,— серьезно сказал подрывник,— так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

Морозка рысью выехал за поскотину.

Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки Сихотэ-Алиньского хребта.

Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его — обиженный своим богом и людьми сучанский дед — еще пахал землю; отец променял чернозем на уголь.

Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену.

— Сын?..— переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто другой.

— Значит, четвертый...— подытожил отец покорно.— Веселая жизнь...

Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу.

В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на Сучанском руднике было не меньше, чем копров.

В ста саженях от шахты кончалась падь и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по нескончаемым рель-

сам ползли день за днем груженные углем дековильки на станцию Кангауз. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения, наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошено затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели «кукушки», гудели электрические подъемники.

Жизнь действительно была веселой.

В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни и «портил» деревенских девок.

На обратном пути «шахтерские» крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили тайгу, ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость.

Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, пропахнувший онучами и клопами полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам и никто ее не выкачивал.

Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость: надеялись пристращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майхинскими спиртоносами, Морозка рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал.

Когда пришло время, уехал на фронт — попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все кавалеристы, смотреть на «пешую кобылку», шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции. А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй, гулящей и бесплодной откатчице из шахты № 1. Он все делал необдуманно: жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов.

Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в восемнадцатом году защищать Советы.

Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан: Советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят.

Мишка сердито цокал коваными копытцами; оранжевые пауты назойливо жужжали над ухом, путались в мохнатой шерсти, искусывая до крови.

Морозка выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка; там стоял отряд Шалдыбы.

— В-з-з... в-з-з...— жарко пели неугомонные пауты.

Странный, лопающийся звук тряхнул и прокатился за холмом. За ним — другой, третий... Будто сорвавшийся с цепи зверь ломал на стреме колючий кустарник.

— Обожди,— сказал Морозка чуть слышно, натянув поводья.

Мишка послушно оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом.

— Слышишь?.. Стреляют!..— выпрямляясь, возбужденно забормотал ординарец.— Стреляют! Да?..

— Та-та-та...— залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное уханье бердан, кругло-четкий плач японских карабинов.

— В карьер!..— закричал Морозка тугим взволнованным голосом.

Носки привычно впились в стремена, дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопающий кустарник.

Не выезжая на гребень, Морозка осадил лошадь.

— Обожди здесь,— сказал, соскакивая на землю и забрасывая повод на луку седла: Мишка — верный раб — не нуждался в привязи.

Морозка ползком взобрался на вершину. Справа, миновав Крыловку, правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышами на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по златоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба (Морозка узнал его по вороному коню и островерхой барсучьей папахе) хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики.

— Сволочи, что делают, что только делают...— все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозка.

В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит — несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное.

Люди прибавляли ходу, оставив его позади, не оглядываясь.

— Сволочи, и что только делают! — снова сказал Морозка, нервно впиваясь пальцами в потный карабин.

— Мишка, сюда!..— крикнул он вдруг не своим голосом.

Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину.

Через несколько секунд, распластавшись, как птица, Морозка летел по ячменному полю. Злобно взыкали над головой свинцово-огненные пауты, падала куда-то в пропасть лошадиная спина, стремглав свистел под ногами ячмень.

— Ложись!..— крикнул Морозка, перебрасывая повод на одну сторону и бешено пришпоривая жеребца одной ногой.

Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой стонущей фигуры с белой, окрашенной кровью повязкой на голове.

— Ложись...— хрипел Морозка, раздирая удилом лошадиные губы.

Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю.

— Больно, ой... бо-больно!..— стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови.

— Молчи, зануда!..— прошептал Морозка.

Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма — к деревушке, где стоял отряд Левинсона.

II. Мечик

Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.

Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком.

— Желторотый...— насмешливо процедил ординарец, когда бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца.— Немного царапнули, а он и размяк.

Морозке хотелось сказать что-нибудь очень обидное, но он не находил слов.

— Известно, сопливый...— бурчал он недовольным голосом.

— Не трепись,— перебил Левинсон сурово.— Бакланов!.. Ночью отвезете парня в лазарет.

Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака нашли немного денег, документы (звать — Павлом Мечиком), сверток с письмами и женской фотографической карточкой.

Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей по очереди исследовали нежное, в светлых кудряшках, девичье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Раненый лежал без памяти, с застывшими бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу.

Он не слыхал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темь, тянуло свежим и крепким, как бы настоянным на спирту, запахом хвои и прелого листа.

Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытье.

Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнущийся мужчина в сером больничном ха-

лате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура.

Первое, что охватило Мечика,— что исходило от этой спокойной фигуры — от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых смуглых рук,— было чувство какой-то бесцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности.

— Где я? — тихо спросил Мечик.

Высокий, негнущийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую, жесткую ладонь, пощупал пульс.

— Сойдет...— сказал он спокойно.— Варя, приготовьте все для перевязки да кликните Харченко...— Помолчал немного и неизвестно для чего добавил: — Уж заодно.

Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул.

Было очень больно, когда в засохшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал.

— Вот и хорошо,— сказал высокий мужчина, кончая перевязку.— Три дырки настоящих, а в голову — так, царапина. Через месяц зарастут, или я — не Сташинский.— Он несколько оживился, быстрей зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый — однообразно мигал.

Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг.

Какие-то люди суетились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись на посошок, добродушно глядел на все светлобородый и тихий старичок в халате.

Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанная смоляными запахами, плыла сытая таежная тишина.

Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно

представлял себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький городской мотивчик,— в каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения.

Люди в сопках (знакомые только по газетам) вставали перед глазами как живые — в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения, от томительно-сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках.

Она, наверно, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться...

У самой Крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес.

— Кто такой? — спросил остролицый парень в матросской фуражке.

— Да вот... послан из города...

— Документы?

Пришлось разуться и достать путевку.

— «...При... морской... о-бластной комитет... социалистов... ре-во-лю-ци-не-ров»,— читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечика колючие, как бодяки, глаза.— Та-ак...— протянул неопределенно.

И вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом:

— Как же ты, паскуда...

— Что? Что?..— растерялся Мечик.— Да ведь это же — «максималистов»... Прочтите, товарищ!

— Обыска-ать!..

Через несколько минут Мечик — избитый и обезоруженный — стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе, с черными глазами, прожигающими до пяток.

— Они не разобрали...— говорил Мечик, нервно всхлипывая и заикаясь.— Ведь там же написано — «максималистов»... Обратите внимание, пожалуйста...

— А ну, дай бумагу.

Человек в барсучьей папахе уставился на путевку.

Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса.

— Дурак...— сказал сурово.— Не видишь: «максималистов»...

— Ну да, ну вот! — воскликнул Мечик обрадованно.— Ведь я же говорил — максималистов! Ведь это же совсем другое...

— Выходит, зря били...— разочарованно сказал матрос.— Чудеса!

В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда.

Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу — над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом.

Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди.

Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной, болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную таежную тишину.

Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклены, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых — двое; сучанский партизан Фролов, раненный в живот, и Мечик.

Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину: в невозмутимой тишине, у древнего, поросшего мхом скита сидит над озером, на изумрудном бережку, светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Тихое небо над старичком, тихие, в жаркой истоме, ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина...

Не об этом ли сне тоскует у Мечика душа?

Напевным голоском, как деревенский дьячок, Пика рассказывал о сыне — бывшем красногвардейце.

— Да-а... Приходит это он до меня. Я, канешно, сижу

на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались — дело понятное. Вижу только, сумный он штой-то... «Я, говорит, батя, в Читу уезжаю».— «Почему такое?..» — «Да там, говорит, батя, чехословаки объявились».— «Ну-к что ж, говорю, чехословаки? Живи здесь; смотри, говорю, благодать-то какая?..» И верно: на пасеке у меня — только шти не рай: березка, знаишь, липа в цвету, пчелки... в-ж-ж... в-ж-ж...

Пика снимал с головы мягкую черную шапчонку и радостно поводил ею вокруг.

— И что ж ты скажешь?.. Не остался! Так и не остался... Уехал... Теперь и пасеку «колчаки» разгромили, и сына нема... Вот — жизнь!

Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри, жест.

Но еще больше любил он, когда приходила «милосердная сестра». Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами. Она была немножко сутула и бледна, а руки ее излишне велики для женщины. Но ходила она какой-то особенной, неплавной, сильной походкой, и голос ее всегда что-то обещал.

И когда она садилась рядом на кровать, Мечик уже не мог лежать спокойно. (Он никогда бы не сознался в этом девушке в светлых кудряшках.)

— Блудливая она — Варька,— сказал однажды Пика.— Морозка, муж ее, в отряде, а она блудит...

Мечик посмотрел в ту сторону, куда, подмигивая, указывал старик. Сестра стирала на прогалине белье, а около нее вертелся фельдшер Харченко. Он то и дело наклонялся к ней и говорил что-то веселое, и она, все чаще отрываясь от работы, поглядывала на него странным дымчатым взглядом. Слово «блудливая» пробудило в Мечике острое любопытство.

— А отчего она... такая? — спросил он Пику, стараясь скрыть смущение.

— А шут ее знает, с чего она такая ласковая. Не может никому отказать — и все тут...

Мечик вспомнил о первом впечатлении, которое произвела на него сестра, и непонятная обида шевельнулась в нем.

С этой минуты он стал внимательней наблюдать за ней. В самом деле, она слишком много «крутила» с мужчинами,— со всяким, кто хоть немножко мог обходиться без чужой помощи. Но ведь в госпитале больше не было женщин.

Утром как-то, после перевязки, она задержалась, оправляя Мечику постель.

— Посиди со мной...— сказал он, краснея.

Она посмотрела на него долго и внимательно, как в тот день, стирая белье, смотрела на Харченко.

— Ишь ты...— сказала невольно с некоторым удивлением.

Однако, оправив постель, присела рядом.

— Тебе нравится Харченко? — спросил Мечик.

Она не слышала вопроса — ответила собственным мыслям, притягивая Мечика большими дымчатыми глазами:

— А ведь такой молоденький...— И спохватившись: — Харченко?.. Что ж, ничего. Все вы — на одну колодку...

Мечик вынул из-под подушки небольшой сверток в газетной бумаге. С поблекшей фотографии глянуло на него знакомое девичье лицо, но оно не показалось ему таким милым, как раньше,— оно смотрело с чужой и деланной веселостью, и хотя Мечик боялся сознаться в этом, но ему странно стало, как мог он раньше так много думать о ней. Он еще не знал, зачем это делает и хорошо ли это, когда протягивал сестре портрет девушки в светлых кудряшках.

Сестра рассматривала его — сначала вблизи, потом отставив руку, и вдруг, выронив портрет, вскрикнула, вскочила с постели и быстро оглянулась назад.

— Хороша курва! — сказал из-за клена чей-то насмешливый хрипловатый голос.

Мечик покосился в ту сторону и увидел странно знакомое лицо с ржавым непослушным чубом из-под фуражки и с насмешливыми зелено-карими глазами, у которых было тогда другое выражение.

— Ну, чего испугалась? — спокойно продолжал хрипловатый голос.— Это я не на тебя — на патрет... Много я баб переменил, а вот патретов не имею. Может, ты мне когда подаришь?..

Варя пришла в себя и засмеялась.

— Ну и напугал...— сказала не своим — певучим бабьим голосом.— Откуда это тебя, черта патлатого...— И обращаясь к Мечику: — Это — Морозка, муж мой. Всегда что-нибудь устроит.

— Да мы с ним знакомы... трошки,— сказал ординарец, с усмешкой оттенив слово «трошки».

Мечик лежал как пришибленный, не находя слов от стыда и обиды. Варя уже забыла про карточку и, разговаривая с мужем, наступила на нее ногой. Мечику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли.

А когда они ушли в тайгу, он, стиснув зубы от боли в ногах, сам достал вмятый в землю портрет и изорвал его в клочки.

III. Шестое чувство

Морозка и Варя вернулись за полдень, не глядя друг на друга, усталые и ленивые.

Морозка вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, как в сказке, вылетел из чащи курчавый, звонкокопытый жеребец, Мечик вспомнил, где он видал обоих.

— Михрютка-а... сукин сы-ын... заждался?..— ласково ворчал ординарец.

Проезжая мимо Мечика, он посмотрел на него с хитроватой усмешкой.

Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок, Морозка еще не раз вспоминал о Мечике. «И зачем только идут такие до нас? — думал он с досадой и недоумением.— Когда зачинали, никого не было, а теперь на готовенькое — идут...» Ему казалось, что Мечик действительно пришел «на готовенькое», хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди. «Придет эдакой шпендрик — размякнет, нагадит, а нам расхлебывай... И что в нем дура моя нашла?»

Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать дорогу.

В думах, непривычно тяжелых, Морозка не заметил, как выехал в долину. Там — в душистом пырее, в диком, кудрявом клевере звенели косы, плыл над людьми

прилежный работяга-день. У людей были курчавые, как клевер, бороды, потные и длинные, до колен, рубахи. Они шагали по прокосам размеренным, приседающим шагом, и травы шумно ложились у ног, пахучие и ленивые.

Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смотрели вслед.

— Как свечечка!..— восхищались они Морозкиной посадкой, когда, приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке выпрямленным корпусом, он плавно шел на рысях, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи.

За излучиной реки, у баштанов сельского председателя Хомы Рябца, Морозка придержал коня. Над баштанами не чувствовалось заботливого хозяйского глаза: когда хозяин занят общественными делами, баштаны зарастают травой, сгнивает дедовский курень, пузатые дыни с трудом вызревают в духовитой полыни и пугало над баштанами похоже на сдыхающую птицу.

Воровато оглядевшись по сторонам, Морозка свернул к покосившемуся куреню. Осторожно заглянул вовнутрь. Там никого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный обломок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок, Морозка соскочил с лошади и, пригибаясь к земле, пополз по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок, некоторые тут же съедал, разламывая на колене.

Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, понимающим взглядом, как вдруг, заслышав шорох, поднял лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из ивняка вылез на берег длиннобородый, ширококостный старик в полотняных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с трудом удерживал в руках ходивший ходуном нерет, где громадный плоскожабрый таймень в муках бился предсмертным биением. С нерета холодными струйками стекала на полотняные штаны, на крепкие босые ступни разбавленная водой малиновая кровь.

В рослой фигуре Хомы Егоровича Рябца Мишка узнал хозяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой, отделенный дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной конюшне, томясь от постоянного вожделе-

ния. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув голову, глупо и радостно заржал.

Морозка испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении, держась обеими руками за мешок.

— Что же ты... делаешь?..— с обидой и дрожью в голосе сказал Рябец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Он не выпускал из рук вздрагивающий нерет, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных вскипающих слов.

Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось никаких улик. Но, поняв, что уже теперь все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным, сумасшедшим карьером.

— Обожди-и, найдем мы на тебя управу... найдем!.. найдем!..— кричал Рябец, навалившись на одно слово и все еще не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и одевал, как сына, обкрадывает его баштаны, да еще в такое время, когда они зарастают травой оттого, что их хозяин работает для мира.

В садике у Рябца, разложив в тени, на круглом столике, подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернувшегося разведчика.

Разведчик — в стеганом мужицком надеване и в лаптях — побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, ожженное солнцем лицо горело радостным возбуждением только что миновавшей опасности.

По словам разведчика, главный японский штаб стоял в Яковлевке. Две роты из Спасск-Приморска передвинулись в Сандагоу, зато Свиягинская ветка была очищена, и до Шабановского Ключа разведчик ехал на поезде вместе с двумя вооруженными партизанами из отряда Шалдыбы.

— А куда Шалдыба отступил?

— На корейские хутора...

Разведчик попытался найти их на карте, но это было не так легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределенно ткнул пальцем в соседний уезд.

— У Крыловки их здорово потрепали,— продолжал он бойко, шмыгая носом.— Теперь половина ребят разбрелась по деревням, а Шалдыба сидит в корейском

зимовье и жрет чумизу. Говорят, пьет здорово. Свихнулся вовсе.

Левинсон сопоставил новые данные с теми, что сообщил вчера даубихинский спиртонос Стыркша, и с теми, что присланы были из города. Чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части — шестое чутье, как у летучей мыши.

Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское председатель кооператива вторую неделю не возвращался домой, и в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько сандагоуских крестьян, неожиданно загрустивших по дому, и в том, что хромоногий хунхуз Ли-Фу, державший с отрядом путь на Уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям Фудзина.

Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи — непобедимой мудростью многих поколений.

— Ну, а чего-нибудь особенного... не чувствовалось?

Разведчик смотрел, не понимая.

— Нюхом, нюхом!..— пояснил Левинсон, собирая пальцы в щепотку и быстро поднося их к носу.

— Ничего не унюхал... Уж как есть...— виновато сказал разведчик. «Что я — собака, что ли?» — подумал он с обидным недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как у торговки на сандагоуском базаре.

— Ну, ступай...— махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза.

Один он в задумчивости прошелся по саду, остановившись у яблони, долго наблюдал, как возится в коре крепкоголовый песочного цвета жучок, и какими-то неведомыми путями пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят японцы, если к этому не приготовиться заранее. У калитки Левинсон столкнулся с Рябцом и своим помощником Баклановым — коренастым парнишкой лет девятнадцати, в суконной защитной гимнастерке и с недремлющим кольтом у пояса.

— Что делать с Морозкой?..— с места выпалил Бакланов, собирая над переносьем тугие складки бровей и гневно выбрасывая из-под них горящие, как угли, глаза.— Дыни у Рябца крал... вот, пожалуйста!..

Он с поклоном повел руками от командира к Рябцу, словно предлагал им познакомиться. Левинсон давно не видал помощника в таком возбуждении.

— А ты не кричи,— сказал он спокойно и убедительно,— кричать не нужно. В чем дело?..

Рябец трясущимися руками протянул злополучный мешок.

— Полбаштана изгадил, товарищ командир, истинная правда! Я, знаешь, нерета проверял — в кои веки собрался,— когда вылезаю с ивнячка...

И он пространно изложил свою обиду, особенно напирая на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство.

— Бабы у меня, знаешь, заместо того, чтоб баштаны выполоть, как это у людей ведется, на покосе маются. Как проклятые!..

Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал за Морозкой.

Тот явился с заломленной на затылок фуражкой и с неприступно-наглым выражением, которое всегда напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал врать и защищаться до последней крайности.

— Твой мешок? — спросил командир, сразу вовлекая Морозку в орбиту своих немутнеющих глаз.

— Мой...

— Бакланов, возьми-ка у него смит...

— Как возьми?.. Ты мне его давал?! — Морозка отскочил в сторону и расстегнул кобуру.

— Не балуй, не балуй...— с суровой сдержанностью сказал Бакланов, туже сбирая складки над переносьем.

Оставшись без оружия, Морозка сразу размяк.

— Ну, сколько я там дынь этих взял?.. И что это вы, Хома Егорыч, на самом деле. Ну, ведь сущий же пустяк... на самом деле!

Рябец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми пальцами запыленных ног.

Левинсон распорядился, чтоб к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.

— Пускай все узнают...

— Иосиф Абрамыч...— заговорил Морозка глухим, потемневшим голосом.— Ну, пущай — отряд... уж все равно. А мужиков зачем?

— Слушай, дорогой,— сказал Левинсон, обращаясь к Рябцу и не замечая Морозки,— у меня дело к тебе... с глазу на глаз.

Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, попросил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и насушить пудов десять сухарей.

— Только смотри, чтоб никто не знал — зачем сухари и для кого.

Морозка понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в караульное помещение.

Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию овса:

— Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку.

IV. Один

Приезд Морозки нарушил душевное равновесие, установившееся в Мечике под влиянием ровной, безмятежной жизни в госпитале.

«Почему он смотрел так пренебрежительно? — подумал Мечик, когда ординарец уехал.— Пусть он вытащил меня из огня, разве это дает право насмехаться?.. И все, главное... все...» Он посмотрел на свои тонкие, исхудавшие пальцы, ноги под одеялом, скованные лубками, и старые, загнанные внутрь обиды вспыхнули в нем с новой силой, и душа его сжалась в смятении и боли.

С той самой поры, как остролицый парень с колючими, как бодяки, глазами враждебно и жестоко схватил его за воротник, каждый шел к Мечику с насмешкой, а не с помощью, никто не хотел разбираться в его обидах. Даже в госпитале, где таежная тишина дышала любовью и миром, люди ласкали его только потому, что в этом состояла их обязанность. И самым тяжелым, самым горьким для Мечика было чувствовать себя одиноким после того, как и его кровь осталась где-то на ячменном поле.

Его потянуло к Пике, но старик, расстелив халат, мирно спал под деревом на опушке, подложив под голову мягкую шапочку. От круглой, блестящей лысинки расходились во все стороны, как сияние, прозрачные серебряные волосики. Двое парней — один с перевязанной

рукой, другой прихрамывая на ногу,— вышли из тайги. Остановившись около старика, жуликовато перемигнулись. Хромой отыскал соломинку и, приподняв брови и сморщившись, словно сам собирался чихнуть, пощекотал ею в Пикином носу. Пика сонно заворчал, поерзал носом, несколько раз отмахнулся рукой, наконец громко чихнул к всеобщему удовольствию. Оба прыснули со смеха и, пригибаясь к земле, оглядываясь, как нашкодившие ребята, побежали к бараку — один бережно поджимая руку, другой — вороватo припадая на ногу.

— Эй ты, помощник смерти! — закричал первый, увидев на завалинке Харченко и Варю.— Ты что ж это баб наших лапаешь?.. А ну, а ну, дай-ка и мне подержаться...— заворчал он масленым голосом, садясь рядом и обнимая сестру здоровой рукой.— Мы тебя любим — ты у нас одна, а этого черномазого гони — гони его к мамаше, гони его, сукиного сына!..— Он той же рукой пытался оттолкнуть Харченко, но фельдшер плотно прижимался к Варе с другого бока и скалил ровные, пожелтевшие от «маньчжурки» зубы.

— А мне иде ж притулиться? — плаксиво загнусил хромой.— И что же это такое, где ж это правда, и кто ж это уважит раненого человека,— как это вы смотрите, товарищи, милые граждане?..— зачастил он, как заведенный, моргая влажными веками и бестолково размахивая руками.

Его спутник устрашающе дрыгал ногой, не подпуская близко, а фельдшер хохотал неестественно громко, незаметно залезая Варе под кофточку. Она смотрела на них покорно и устало, даже не пытаясь выгнать Харченкову руку, и вдруг, поймав на себе растерянный взгляд Мечика, вскочила, быстро запахивая кофточку и заливаясь, как пион.

— Лезут, как мухи на мед, кобели рваные!..— сказала в сердцах и, низко склонив голову, убежала в барак. В дверях защемила юбку и, сердито выдернув ее, снова хлопнула дверью так, что мох посыпался из щелей.

— Вот тебе и сестра-а!..— певуче возгласил хромой. Скривился, как перед табачной понюшкой, и захихикал — тихо, мелко и пакостно.

А из-под клена, с койки, с высоты четырех матрацев, уставив в небо желтое, изнуренное болезнью лицо, чуждо и строго смотрел раненый партизан Фролов. Взгляд

его был тускл и пуст, как у мертвого. Рана Фролова была безнадежна, и он сам знал это с той минуты, когда, корчась от смертельной боли в животе, впервые увидел в собственных глазах бесплотное, опрокинутое небо. Мечик почувствовал на себе его неподвижный взгляд и, вздрогнув, испуганно отвел глаза.

— Ребята... шкодят...— хрипло сказал Фролов и пошевелил пальцем, будто хотел доказать кому-то, что еще жив.

Мечик сделал вид, что не слышит.

И хотя Фролов давно забыл про него, он долго боялся посмотреть в его сторону — казалось, раненый все еще глядит, ощерясь в костлявой, обтянутой улыбке.

Из барака, неловко сломившись в дверях, вышел доктор Сташинский. Сразу выпрямился, как длинный складной ножик, и стало странным, как это он мог согнуться, когда вылезал. Он большими шагами подошел к ребятам и, забыв, зачем они понадобились, удивленно остановился, мигая одним глазом...

— Жара...— буркнул наконец, складывая руку и проводя ею по стриженой голове против волос. Вышел же он сказать, что нехорошо надоедать человеку, который не может же заменить всем мать и жену.

— Скучно лежать? — спросил он Мечика, подходя к нему и опуская ему на лоб сухую, горячую ладонь.

Мечика тронуло его неожиданное участие.

— Мне — что?.. поправился и пошел,— встрепенулся Мечик,— а вот вам как?.. Вечно в лесу.

— А если надо?..

— Что надо? — не понял Мечик.

— Да в лесу мне быть...— Сташинский принял руку и впервые с человеческим любопытством посмотрел Мечику прямо в глаза своими — блестящими и черными. Они смотрели как-то издалека и тоскливо, будто вобрали всю бессловесную тоску по людям, что долгими ночами гложет таежных одиночек у чадных сихотэ-алиньских костров.

— Я понимаю,— грустно сказал Мечик и улыбнулся та́к же приветливо и грустно.— А разве нельзя было в деревне устроиться?.. То есть не то что вам лично,— перехватил он недоуменный вопрос,— а госпиталь в деревне?

— Безопасней здесь... А вы сами откуда?

— Я из города.
— Давно?
— Да уж больше месяца.
— Крайзельмана знаете? — оживился Сташинский.
— Знаю немножко...
— Ну, как он там? А еще кого знаете? — Доктор сильнее замигал глазом и так внезапно опустился на пенек, словно его сзади ударили под коленки.
— Вонсика знаю, Ефремова...— начал перечислять Мечик.— Гурьева, Френкеля — не того, что в очках,— с тем я незнаком,— а маленького...
— Да ведь это же все «максималисты»?! — удивился Сташинский.— Откуда вы их знаете?
— Так ведь я все с ними больше...— неуверенно пробормотал Мечик, почему-то робея.
«А-а...» — хотел сказать как будто Сташинский и не сказал.
— Хорошее дело,— буркнул сухо, каким-то почужевшим голосом и встал.— Ну-ну... поправляйтесь...— сказал, не глядя на Мечика. И, как бы боясь, что тот позовет его обратно, быстро зашагал к бараку.
— Васютину еще знаю!...— пытаясь за что-то ухватиться, прокричал Мечик вслед.
— Да... да...— несколько раз повторил Сташинский, полуоглядываясь и учащая шаги.
Мечик понял, что чем-то не угодил ему,— сжался и покраснел.
Вдруг все переживания последнего месяца хлынули на него разом,— он еще раз попытался за что-то ухватиться и не смог. Губы его дрогнули, и он заморгал быстро-быстро, удерживая слезы, но они не послушались и потекли, крупные и частые, расползаясь по лицу. Он с головой закрылся одеялом и, не сдерживаясь больше, заплакал тихо-тихо, стараясь не дрожать и не всхлипывать, чтобы никто не заметил его слабости.
Он плакал долго и безутешно, и мысли его, как слезы, были солоны и терпки. Потом, успокоившись, он так и остался лежать неподвижно, с закрытой головой. Несколько раз подходила Варя. Он хорошо знал ее сильную поступь, будто до самой смерти сестра обязалась толкать перед собой нагруженный вагончик. Нерешительно постояв возле койки, она снова уходила. Потом приковылял Пика.

— Спишь? — спросил внятно и ласково.

Мечик притворился спящим. Пика выждал немного. Слышно было, как поют на одеяле вечерние комары.

— Ну, спи...

Когда стемнело, снова подошли двое — Варя и еще кто-то. Бережно приподняв койку, понесли ее в барак. Там было жарко и сыро.

— Иди... иди за Фроловым... я сейчас приду,— сказала Варя.

Она несколько секунд постояла над койкой и, осторожно приподняв с головы одеяло, спросила:

— Ты что это, Павлуша?.. Плохо тебе?..

Она первый раз назвала его Павлушей.

Мечик не мог разглядеть ее в темноте, но чувствовал ее присутствие так же, как и то, что они только вдвоем в бараке.

— Плохо...— сказал он сумрачно и тихо.

— Ноги болят?..

— Нет, так себе...

Она быстро нагнулась и, крепко прижавшись к нему большой и мягкой грудью, поцеловала его в губы.

V. Мужики и «угольное племя»

Желая проверить свои предположения, Левинсон пошел на собрание заблаговременно — потереться среди мужиков, нет ли каких слухов.

Сход собирался в школе. Народу было еще немного: несколько человек, рано вернувшихся с поля, сумерничали на крыльце. Через раскрытые двери видно было, как Рябец возится в комнате с лампой, прилаживая закопченное стекло.

— Осипу Абрамычу,— почтительно кланялись мужики, по очереди протягивая Левинсону темные, одеревеневшие от работы пальцы. Он поздоровался с каждым и скромно уселся на ступеньке.

За рекой разноголосо пели девчата; пахло сеном, отсыревающей пылью и дымом костров. Слышно было, как бьются на пароме усталые лошади. В теплой вечерней мгле, в скрипе нагруженных телег, в протяжном мычании сытых недоеных коров угасал мужичий маетный день.

— Маловато чтой-то,— сказал Рябец, выходя на крыльцо.— Да многих и не соберешь седни, на покосе ночуют многие...

— А сход на что в буден день? Аль срочное что?

— Да есть тут одно дельце...— замялся председатель.— Набузил тут один ихний,— у меня живет. Оно, как бы сказать, и пустяки, а цельная канитель получилась...— Он смущенно посмотрел на Левинсона и замолчал.

— А коли пустое, так и не след бы собирать!..— разом загалдели мужики.— Время такое — мужику каждый час дорог.

Левинсон объяснил. Тогда они наперебой стали выкладывать свои крестьянские жалобы, вертевшиеся больше вокруг покоса и бестоварья.

— Ты бы, Осип Абрамыч, прошелся как-нибудь по покосам, посмотрел, чем косят люди? Целых кос ни у кого, хучь бы одна для смеху,— все латаные. Не работа — маета.

— Семен надысь какую загубил! Ему бы все скорей,— жадный мужик до дела,— идет по прокосу, сопит, ровно машина, в кочку ка-ак... звезданет!.. Теперь уж, сколько ни чини, не то.

— Добрая «литовка» была!..

— Мои-то — как там?..— задумчиво сказал Рябец.— Управились, чи не? Трава нонче богатая — хотя б к воскресенью летошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта.

В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в длинных грязно-белых рубахах, некоторые с узелками — прямо с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, запахи дегтя и пота и свежескошенных трав.

— Здравствуйте в вашу хату...

— Хо-хо-хо!.. Иван?.. А ну, кажи морду на свет — здорово чмели покусали? Видал я, как ты бежал от их, задницей дрыгал...

— Ты чего ж это, зараза, мой кли́н скосил?

— Как твой! Не бреши!.. Я — по межу, тютелька в тютельку. Нам чужого не надыть! — своего хватает...

— Знаем мы вас... Хвата-ет! Свиней ваших с огорода не сгонишь... Скоро на моем баштане поросяться будут... Хвата-ет!..

Кто-то, высокий, сутулый и жесткий, с одним блестящим во тьме глазом, вырос над толпой, сказал:

— Японец третьего дня в Сундугу пришел. Чугуевские ребята баяли. Пришел, занял школу — и сразу по бабам: «Руськи барысня, руськи барысня... сю-сю-сю». Тьфу, прости господи!.. — оборвал он с ненавистью, резко рванув рукой наотмашь, словно отрубая.

— Он и до нас дойдет, это уж как пить...

— И откуда напасть такая?

— Нету мужику спокою...

— И все-то на мужике, и все-то на ем! Хотя б уж на что одно вышло...

— Главная вещь — и выходов никаких! Хучь так в могилу, хучь так в гроб — одна дистанция!..

Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид — весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но, вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные, ему одному тревожные нотки.

«Плохо дело,— думал он сосредоточенно,— совсем худо... Надо завтра же написать Сташинскому, чтобы рассовывал раненых, куда можно... Замереть на время, будто и нет нас... караулы усилить...»

— Бакланов! — окликнул он помощника.— Иди-ка сюда на минутку... Дело вот какое... садись поближе. Думаю я, мало нам одного часового у поскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки... ночью особенно... Уж больно беспечны мы стали.

— А что,— встрепенулся Бакланов.— Разве тревожно что?.. или что? — Он повернул к Левинсону бритую голову, и глаза его, косые и узкие, как у татарина, смотрели настороженно, пытливо.

— На войне, милый, всегда тревожно,— сказал Левинсон ласково и ядовито.— На войне, дорогой, это не то, что с Марусей на сеновале...— Он засмеялся вдруг дробно и весело и ущипнул Бакланова в бок.

— Ишь ты, какой умный...— завторил Бакланов, схватив Левинсона за руку и сразу превращаясь в драчливого, веселого добродушного парня.— Не дрыгай, не дрыгай — все равно не вырвешься!..— ласково ворчал он сквозь зубы, скручивая Левинсону руку назад и незаметно прижимая его к колонке крыльца.

— Иди, иди — вон Маруся зовет...— хитрил Левинсон.— Да пусти ты, ч-черт!.. неудобно на сходке...

— Только что неудобно, а то бы я тебе показал...

— Иди, иди... вон она, Маруся-то... иди!

— Дозорного, я думаю, одного? — спросил Бакланов, вставая.

Левинсон с улыбкой смотрел ему вслед.

— Геройский у тебя помощник,— сказал кто-то.— Не пьет, не курит, а главное дело — молодой. Заходит третьеводни в избу, хомута разжиться... «Что ж, говорю, не хочешь ли рюмашечку с перчиком?» — «Нет, говорит, не пью. Уж ежели, говорит, угостить думаешь, молочка давай — молочко, говорит, люблю, это верно». А пьет он его, знаешь, ровно малый ребенок — с мисочки — и хлебец — крошит... Боевой парень, одно слово!..

В толпе, поблескивая ружейными дулами, все чаще мелькали фигуры партизан. Ребята сходились к сроку, дружно. Пришли наконец шахтеры во главе с Тимофеем Дубовым, рослым забойщиком с Сучана, теперь взводным командиром. Они так и влились в толпу отдельной, дружной массой, не растворяясь, только Морозка сумрачно сел поодаль на завалинке.

— А-а... и ты здесь? — заметив Левинсона, обрадованно загудел Дубов, будто не видел его много лет и никак не ожидал здесь встретить.— Что это там корышок наш набузил? — спросил он медленно и густо, протягивая Левинсону большую черную руку.— Проучить, проучить... чтоб другим неповадно было!..— загудел снова, не дослушав объяснений Левинсона.

— На этого Морозку давно уж пора обратить внимание — пятно на весь отряд кладет,— ввернул сладкоголосый парень, по прозвищу Чиж, в студенческой фуражке и чищеных сапогах.

— Тебя не спросили! — не глядя, обрезал Дубов.

Парень поджал было губы обидчиво и достойно, но, поймав на себе насмешливый взгляд Левинсона, юркнул в толпу.

— Видал гуся? — мрачно спросил взводный.— Зачем ты его держишь?.. По слухам, его самого за кражу с института выгнали.

— Не всякому слуху верь,— сказал Левинсон.

— Уж заходили бы, что ли, ча!..— взывал с крыльца Рябец, растерянно разводя руками, словно не ожидал,

что его заросший баштан породит такое скопление народа.— Уж начинали бы... товарищ командир?.. До петухов нам толочься тут...

В комнате стало жарко и зелено от дыма. Скамеек не хватало. Мужики и партизаны вперемежку забили проходы, столпились в дверях, дышали Левинсону в затылок.

— Начинай, Осип Абрамыч,— угрюмо сказал Рябец. Он был недоволен и собой и командиром — вся история казалась теперь никчемной и хлопотной.

Морозка протискался в дверях и стал рядом с Дубовым, сумрачный и злой.

Левинсон больше упирал на то, что никогда бы не стал отрывать мужиков от работы, если бы не считал, что дело это общее, затронуты обе стороны, а кроме того, в отряде много местных.

— Как вы решите, так и будет,— закончил он веско, подражая мужичьей степенной повадке. Медленно опустился на скамью, просунулся назад и сразу стал маленьким и незаметным — сгас, как фитилек, оставив сход в темноте самому решать дело.

Заговорили сначала несколько человек туманно и нетвердо, путаясь в мелочах, потом ввязались другие. Через несколько минут уж ничего нельзя было понять. Говорили мужики, партизаны молчали глухо и выжидающе.

— Тоже и это не порядок,— строго бубнил дед Евстафий, седой и насупистый, как летошний мох.— В старое время, при Миколашке, за такое по селу водили. Обвешают краденым и водют под сковородную музыку!..— Он наставительно грозил кому-то высохшим пальцем.

— А ты по-миколашкину не меряй!..— кричал сутулый и одноглазый — тот, что рассказывал о японцах. Ему все время хотелось размахивать руками, но было слишком тесно, и от этого он пуще злился.— Тебе бы все Миколашку!.. Отошло времечко... тю-тю, не воротишь!..

— Да уж Миколашку не Миколашку, а только и это не право,— не сдавался дед.— И так всю шатию кормим. А воров плодить нам тоже не сподручно.

— Кто говорит — плодить? Никто за воров и не цепляется! Воров, может, ты сам разводишь!..— намекнул одноглазый на дедова сына, бесследно пропавшего лет десять тому назад.— Только тут своя мерка нужна! Па-

рень, может, шестой год воюет,— неужто и дынькой не побаловаться?..

— И что ему шкодить было?..— недоумевал один.— Господи твоя воля — благо бы добро какое... Да зайди б ко мне, я б ему полную кайстру за глаза насыпал... На, бери — свиней кормим, не жаль дерьма для хорошего человека!..

В мужичьих голосах не чувствовалось злобы. Большинство сходились на одном: старые законы не годятся, нужен какой-то особый подход.

— Пущай сами решают с председателем!..— выкрикнул кто-то.— Нечего нам в это дело лезти.

Левинсон поднялся снова, постучал по столу.

— Давайте, товарищи, по очереди,— сказал тихо, но внятно, так что все услышали.— Разом будем говорить — ничего не решим. А Морозов-то где?.. А ну, иди сюда...— добавил он, потемнев, и все покосились туда, где стоял ординарец.

— Мне и отсюда видать...— глухо сказал Морозка.

— Иди, иди...— подтолкнул его Дубов.

Морозка заколебался. Левинсон подался вперед и, сразу схватив его, как клещами, немигающим взглядом, выдернул из толпы, как гвоздь.

Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на кого не глядя. Он сильно вспотел, руки его дрожали. Почувствовав на себе сотни любопытных глаз, он попробовал было поднять голову, но наткнулся на суровое, в жестком войлоке, лицо Гончаренки. Подрывник смотрел сочувственно и строго. Морозка не выдержал и, обернувшись к окну, замер, упершись в пустоту.

— Вот теперь и обсудим,— сказал Левинсон по-прежнему удивительно тихо, но слышно для всех, даже за дверями.— Кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется?..

— Да что тут говорить,— смутился дед Евстафий,— мы так только, промеж себя...

— Разговор тут недолгий, сами решайте! — снова загалдели мужики.

— А ну, старик, мне слово дай...— неожиданно сказал Дубов с глухой и сдержанной силой, смотря на деда Евстафия, отчего и Левинсона назвал по ошибке стариком. В голосе Дубова было такое, что все головы, вздрогнув, повернулись к нему.

Он протискался к столу и стал рядом с Морозкой, загородив Левинсона большой и грузной фигурой.

— Самим решать?.. боитесь?! — рванул гневно и страстно, грудью обламывая воздух.— Сами решим!..— Он быстро наклонился к Морозке и впился в него горящими глазами.— Наш, говоришь, Морозка... шахтер? — спросил напряженно и едко.— У-у... нечистая кровь — сучанская руда!.. Не хочешь нашим быть? блудишь? позоришь угольное племя? Ладно!..— Слова Дубова упали в тишине с тяжелым медным грохотом, как гулкий антрацит.

Морозка, бледный как полотно, смотрел ему в глаза не отрываясь, и сердце падало в нем, словно подбитое.

— Ладно!..— снова повторил Дубов.— Блуди! Посмотрим, как без нас проживешь!.. А нам... выгнать его надо!..— оборвал он вдруг, резко оборачиваясь к Левинсону.

— Смотри — прокидаешься! — выкрикнул кто-то из партизан.

— Что?! — переспросил Дубов страшно и шагнул вперед.

— Да цыц же вы, го-споди...— жалобно прогнусил из угла перепуганный старческий голос.

Левинсон сзади схватил взводного за рукав.

— Дубов... Дубов...— спокойно сказал он.— Подвинься малость — народ загораживаешь.

Заряд Дубова сразу пропал, взводный осекся, растерянно мигая.

— Ну, как нам выгнать его, дурака? — заговорил Гончаренко, вздымая над толпой кудрявую, опаленную голову.— Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь,— напакостил парень, сам я с ним кажен день лаюсь... Только и парень, сказать, боевой — не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли на передовых. Свой парень — не выдаст, не продаст...

— Свой...— с горечью перебил Дубов.— А нам он, думаешь, не свой?.. В одной дыре коптили... третий месяц под одной шинелькой спим!.. А тут всякая сволочь,— вспомнил он вдруг сладкоголосого Чижа,— учить будет!..

— Вот я к тому и веду,— продолжал Гончаренко, недоуменно косясь на Дубова (он принял его ругательство на свой счет).— Бросить это дело без последствий никак

невозможно, а сразу прогонять тоже не резон — прокидаемся. Мое мнение такое: спросить его самого!..— И он увесисто резанул ладонью, поставив ее на ребро, будто отделил все чужое и ненужное от своего и правильного.

— Верно!.. Самого спросить!.. Пущай скажет, ежели сознательный.

Дубов, начавший было протискиваться на место, остановился в проходе и пытливо уставился на Морозку. Тот глядел, не понимая, нервно теребя сорочку потными пальцами.

— Говори, как сам мыслишь!..

Морозка покосился на Левинсона.

— Да разве б я...— начал он тихо и смолк, не находя слов.

— Говори, говори!..— закричали поощрительно.

— Да разве б я... сделал такое...— Он опять не нашел нужного слова и кивнул на Рябца...— ну, дыни эти самые, сделал бы, ежели б подумал... со зла или как? А то ведь сызмальства это у нас — все знают, так вот и я... А как сказал Дубов, что всех я ребят наших... да разве же я, братцы!..— вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влажным...— Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..

Посторонние звуки с улицы толкнулись в комнату: собака лаяла где-то на Сниткинском кутку, пели девчата, рядом у попа стучало что-то размеренно и тупо, будто в ступке толкли. «Заводи-и!..» — протяжно кричали на пароме.

— Ну, как я сам себя накажу?..— с болью, но уже значительно тверже и менее искренне продолжал Морозка...— Только слово дать могу... шахтерское... уж это верное будет — мараться не стану...

— А если не сдержишь? — осторожно спросил Левинсон.

— Сдержу я...— И Морозка сморщился, стыдясь перед мужиками.

— А если нет?..

— Тогда что хотите... хоть расстреляйте...

— И расстреляем! — строго сказал Дубов, но глаза его блестели уже без всякого гнева, любовно и насмешливо.

4*

— Значит, и шабаш! Амба!..— закричали со скамей.

— Ну вот, и делов-то всех...— заговорили мужики, радуясь тому, что канительное собрание приходит к концу.— Дело-то пустяковое, а разговоров на год...

— На этом и решим, что ли?.. Других предложений не будет?..

— Да закрывай ты, ч-черт!..— шумели партизаны, прорвавшись после недавнего напряжения.— И то надоело уж... Жрать охота,— кишка кишке шиш показывает!..

— Нет, обождите,— сказал Левинсон, подняв руку и сдержанно щурясь.— С этим вопросом покончено, теперь другой...

— Что там еще?!

— Да, думаю я, нужно нам такую резолюцию принять...— Он оглянулся вокруг...— А секретаря-то у нас и не было!..— засмеялся он вдруг мелко и добродушно.— Иди-ка, Чиж, запиши... такую резолюцию принять: чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам, хоть немного...— Он сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам.

— Да мы того не требуем!..— крикнул кто-то из мужиков.

Левинсон подумал: «Клюнуло...»

— Цыц, ты-ы...— оборвали мужика остальные.— Слухай лучше. Пущай и вправду поработают — руки не отвалятся!..

— А Рябцу мы особо отработаем...

— Почему особо? — заволновались мужики.— Что он за шишка?.. Невелик труд — председателем всякий может!

— Кончать, кончать!.. согласны!.. записывай!..— Партизаны срывались с мест и, уже не слушаясь командира, валили из комнаты.

— И-эх... Ваня-а!..— подскочил к Морозке лохматый, востроносый парень и, дробно постукивая сапожками, потащил его к выходу.— Мальчик ты мой разлюбезный, сыночек ты мой, сопливая ноздря... И-эх!..— вытаптывал он на крыльце, лихо заламывая фуражку и обнимая Морозку другой рукой.

— Иди ты,— беззлобно пхнул его ординарец.

Мимо быстро прошли Левинсон и Бакланов.

— Ну, и здоровый этот Дубов,— говорил помощник, возбужденно брызгая слюной и размахивая руками.— Вот их с Гончаренко стравить! Кто кого, как ты думаешь?

Левинсон, занятый другим, не слушал его. Отсыревшая пыль сдавала под ногами зыбуче и мягко.

Морозка незаметно отстал. Последние мужики обогнали его. Они говорили теперь спокойно, не торопясь, точно шли с работы, а не со сходки.

На бугор ползли приветливые огоньки хат, звали ужинать. Река шумела в тумане на сотни журливых голосов.

«Мишку еще не поил...» — встрепенулся Морозка, входя постепенно в привычный вымеренный круг.

В конюшне, почуяв хозяина, Мишка заржал тихо и недовольно, будто спрашивая: «Где это ты шляешься?» Морозка нащупал в темноте жесткую гриву и потянул его из пуни.

— Ишь обрадовался,— оттолкнул он Мишкину голову, когда тот нахально уткнулся в шею влажными ноздрями.— Только блудить умеешь, а отдуваться — так мне одному...

VI. Левинсон

Отряд Левинсона стоял на отдыхе уже пятую неделю — оброс хозяйством: заводными лошадьми, подводами, кухонными котлами, вокруг которых ютились оборванные, сговорчивые дезертиры из чужих отрядов,— народ разленился, спал больше, чем следует, даже в караулах. Тревожные вести не позволяли Левинсону сдвинуть с места всю эту громоздкую махину: он боялся сделать опрометчивый шаг — новые факты то подтверждали, то высмеивали его опасения. Не раз он обвинял себя в излишней осторожности — особенно когда стало известно, что японцы покинули Крыловку и разведка не обнаружила неприятеля на многие десятки верст.

Однако никто, кроме Сташинского, не знал об этих колебаниях Левинсона. Да и никто в отряде не знал, что Левинсон может вообще колебаться: он ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил уже готовые «да» или «нет». Поэтому он казался всем — за

исключением таких людей, как Дубов, Сташинский, Гончаренко, знавших истинную его цену,— человеком особой, правильной породы. Каждый партизан, особенно юный Бакланов, старавшийся во всем походить на командира, перенимавший даже его внешние манеры, думал примерно так: «Конечно, я, грешный человек, имею много слабостей; я многого не понимаю, многого не умею в себе преодолеть; дома у меня заботливая и теплая невеста, по которой я скучаю; я люблю сладкие дыни, или молочко с хлебцем, или же чищеные сапоги, чтобы покорять девчат на вечерке. А вот Левинсон — это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-нибудь подобном: он все понимает, все делает как нужно, он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозка; он знает только одно — *дело*. Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку...»

С той поры как Левинсон был выбран командиром, никто не мог себе представить его иа другом месте: каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Если бы Левинсон рассказал о том, как в детстве он помогал отцу торговать подержанной мебелью, как отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и скверно играл на скрипке,— каждый счел бы это едва ли уместной шуткой. Но Левинсон никогда не рассказывал таких вещей. Не потому, что был скрытен, а потому, что знал, что о нем думают именно как о человеке «особой породы», знал также многие свои слабости и слабости других людей и думал, что вести за собой других людей можно, только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. В равной мере он никогда не пытался высмеивать юного Бакланова за подражание. В его годы Левинсон тоже подражал людям, учившим его, причем они казались ему такими же правильными, каким он — Бакланову. Впоследствии он убедился, что это не так, и все же был очень благодарен им. Ведь Бакланов перенимал у него не только внешние манеры, но и старый жизненный опыт — навыки борьбы, работы, поведения. И Левинсон знал, что внешние манеры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым Левинсонам и Баклановым, а это — очень важно и нужно.

...В сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей-Ковтун — начальник штаба партизанских отрядов. Старый Суховей-Ковтун писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей, о том, что сам он прячется в охотничьем знмовье, раненный девятью пулями, и что уж, видно, ему недолго осталось жить...

Слух о поражении шел по долине с зловещей быстротой, и все же эстафета обогнала его. Каждый ординарец чувствовал, что это самая страшная эстафета, какую только прнходилось возить с начала двнжения. Тревога людей передавалась лошадям. Мохнатые партизанские кони, оскалив зубы, карьером рвались от села к селу по хмурым, размокшим проселкам, разбрызгивая комья сбитой копытамн грязи...

Левннсон получил эстафету в половине первого ночи, а через полчаса конный взвод пастуха Метелицы, миновав Крыловку, разлетелся веером по тайным сихотэалиньским тропам, разнося тревожную весть в отряды Свиягинского боевого участка.

Четыре дня собирал Левинсон разрозненные сведения из отрядов, мысль его работала напряженно и ощупью — будто прислушиваясь. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые, нездешние глаза, дразнил Бакланова за шашни с «задрипанной Маруськой». А когда Чиж, осмелевший от страха, спросил однажды, почему он ничего не предпринимает. Левинсон вежливо щелкнул его по лбу и ответил, что это «не птичьего ума дело». Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно пониматет, отчего все происходит и куда ведет, что в этом нет ничего необычного нлн страшного н он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но вообще чувствовал себя растерянно, как ученик, которого заставили сразу решить задачу со множеством неизвестных. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников.

Тот явился на пятый день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный, но такой же уверт-

ливый и рыжий, как до поездки,— в этом отношении он был неисправим.

— В городе провал, и Крайзельман в тюрьме...— сказал Канунников, доставая письмо из неведомого рукава с ловкостью карточного шулера, и улыбнулся одними губами: ему было совсем не весело, но он не умел говорить без того, чтобы не улыбаться.— Во Владимиро-Александровском и на Ольге — японский десант... Весь Сучан разгромлен. Та-бак дело!.. Закуривай...— и протянул Левинсону позолоченную сигаретку, так что нельзя было понять — относиться ли «закуривай» к сигаретке или к делам, которые плохи, «как табак».

Левинсон бегло взглянул на адреса — одно письмо спрятал в карман, другое распечатал. Оно подтверждало слова Канунникова. Сквозь официальные строки, полные нарочитой бодрости, слишком ясно проступала горечь поражения и бессилия.

— Плохо, а?..— участливо спросил Канунников.

— Ничего... Письмо кто писал — Седых?

Канунников утвердительно кивнул.

— Это заметно: у него всегда по разделам...— Левинсон насмешливо подчеркнул ногтем «Раздел IV: Очередные задачи», понюхал сигаретку.— Дряной табак, правда? Дай прикурить... Ты только там среди ребят не трепись... насчет десанта и прочего... Трубку мне купил? — И, не слушая объяснений Канунникова, почему тот не купил трубки, снова уткнулся в бумагу.

Раздел «Очередные задачи» состоял из пяти пунктов; из них четыре показались Левинсону невыполнимыми. Пятый же пункт гласил:

«...Самое важное, что требуется сейчас от партизанского командования — чего нужно добиться во что бы то ни стало,— это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы, вокруг которых впоследствии...»

— Позови Бакланова и начхоза,— быстро сказал Левинсон.

Он сунул письмо в полевую сумку, так и не дочитав, что будет впоследствии вокруг боевых единиц. Где-то из множества задач вырисовывалась одна — «самая важная». Левинсон выбросил потухшую сигаретку и забарабанил по столу... «Сохранить боевые единицы...» Мысль эта никак не давалась, стояла в мозгу в виде трех слов,

писанных химическим карандашом на линованной бумаге. Машинально нащупал второе письмо, посмотрел на конверт и вспомнил, что это от жены. «Это потом,— подумал он и снова спрятал его.— Сохранить боевые е-дини-цы».

Когда пришли начхоз и Бакланов, Левинсон знал уже, что будут делать он и люди, находящиеся в его подчинении: они будут делать *все*, чтобы сохранить отряд как боевую единицу.

— Нам придется скоро отсюда уходить,— сказал Левинсон.— Все ли у нас в порядке?.. Слово за начхозом...

— Да, за начхозом,— как эхо, повторил Бакланов и подтянул ремень с таким суровым и решительным видом, будто заранее знал, к чему все это клонится.

— Мне — что, за мной дело не станет, я всегда готов... Только вот, как быть с овсом...— И начхоз стал очень длинно рассказывать о подмоченном овсе, о рваных вьюках, о больных лошадях, о том, что «всего овса им никак не поднять»,— словом, о таких вещах, которые показывали, что он ни к чему еще не готов и вообще считает передвижение вредной затеей. Он старался не смотреть на командира, болезненно морщился, мигал и крякал, так как заранее был уверен в своем поражении.

Левинсон взял его за пуговицу и сказал:

— Дуришь...

— Нет, правда, Осип Абрамыч, лучше нам здесь укрепиться...

— Укрепиться?.. здесь?..— Левинсон покачал головой, как бы сочувствуя глупости начхоза.— А уж седина в волосах. Да ты чем думаешь, головой ли?

— Я...

— Никаких разговоров! — Левинсон, вразумительно подергал его за пуговицу.— В любой момент быть готовым. Ясно?.. Бакланов, ты проследишь за этим...— Он отпустил пуговицу.— Стыдно!.. пустяки там вьюки твои, пустяки! — Глаза его похолодели, и под их жестким взглядом начхоз окончательно убедился, что вьюки — это точно пустяки.

— Да, конечно... ну, что ж, ясно... не в этом суть...— забормотал он, готовый теперь согласиться даже на то, чтобы везти овес на собственной спине, если командир

найдет это необходимым.— Что нам может помешать? Да долго ли тут? Фу-у... хоть сегодня — в два счета.

— Вот, вот...— засмеялся Левинсон,— да уж ладно, ладно, иди! — И он легонько подтолкнул его в спину.— Чтоб в любой момент.

«Хитрый, стерва»,— с досадой и восхищением думал начхоз, выходя из комнаты.

К вечеру Левинсон собрал отрядный совет и взводных командиров.

К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча, пощипывая густые, тяжело нависшие усы. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Это был самый старый, самый заслуженный и самый неумный командир во всем уезде. Его никто не поддержал: Кубрак был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела.

— Крышка! Стоп!..— перебил его пастух Метелица.— Пора забывать про бабий подол, дядя Кубрак! — Он, как всегда, неожиданно вспылил от собственных слов, ударил кулаком по столу, и его рябое лицо сразу вспотело.— Здесь нас, как курят,— стоп, и крышка!..— И он забегал по комнате, шаркая мохнатыми улами и плетью раскидывая табуретки.

— А ты потише немножко, не то скоро устанешь,— посоветовал Левинсон. Но втайне он любовался порывистыми движениями его гибкого тела, туго скрученного, как ременный бич. Этот человек минуты не мог просидеть спокойно — весь был огонь и движение, и хищные его глаза всегда горели ненасытным желанием кого-то догонять и драться.

Метелица выставил свой план отступления, из которого видно было, что его горячая голова не боится больших пространств и не лишена военной сметки.

— Правильно!.. У него котелок варит! — воскликнул Бакланов, восхищенный и немножко обиженный слишком смелым полетом Метелицыной самостоятельной мысли.— Давно ли коней пас, а годика через два, гляди, всеми нами командовать будет...

— Метелица?.. У-у... да ведь это — сокровище! — подтвердил Левинсон.— Только смотри не зазнавайся...

Однако, воспользовавшись жаркими прениями, где каждый считал себя умнее других и никого не слушал, Левинсон подменил план Метелицы своим — более простым и осторожным. Но он сделал это так искусно и незаметно, что его новое предложение голосовалось как предложение Метелицы и всеми было принято.

В ответных письмах в город и Сташинскому Левинсон извещал, что на днях переводит отряд в деревню Шибиши, в верховьях Ирохедзы, а госпиталю предписывал оставаться на месте до особого приказа. Сташинского Левинсон знал еще по городу, и это было второе тревожное письмо, которое он писал ему.

Он кончил работу глубокой ночью, в лампе догорал керосин. В открытое окно тянуло сыростью и прелью. Слышно было, как шуршат за печкой тараканы и Рябец храпит в соседней избе. Левинсон вспомнил о письме жены и, долив лампу, перечел его. Ничего нового и радостного. По-прежнему нигде не принимают на службу, продано все, что можно, приходится жить за счет «Рабочего Красного Креста», у детей — цинга и малокровие. А через все — одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Вначале ему не хотелось ворошить круг мыслей, связанных с этой стороной его жизни, но постепенно он увлекся, лицо его распустилось, он исписал два листка мелким, неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону.

Потом, разминая затекшие члены, он вышел во двор. В конюшне переступали лошади, сочно хрустели травой. Дневальный, обняв винтовку, крепко спал под навесом. Левинсон подумал: «Что, если так же спят часовые?..» Он постоял немного и, с трудом преодолев желание лечь спать самому, вывел из конюшни жеребца. Оседлал. Дневальный не проснулся. «Ишь сукин сын»,— подумал Левинсон. Осторожно снял с него шапку, спрятал ее под сено и, вскочив в седло, уехал проверять караулы.

Придерживаясь кустов, он пробрался к поскотине.

— Кто там? — сурово окликнул часовой, брякнув затвором.

— Свои...

— Левинсон? Что это тебя по ночам носит?

— Дозорные были?

— Минут с пятнадцать один уехал.
— Нового ничего?
— Пока что спокойно... Закурить есть?..

Левинсон отсыпал ему «маньчжурки» и, переправившись через реку вброд, выехал в поле.

Глянул подслеповатый месяц, из тьмы шагнули бледные кусты, поникшие в росе. Река звенела на перекате четко — каждая струя в камень. Впереди на бугре неясно заплясали четыре конные фигуры. Левинсон свернул в кусты и затаился. Голоса послышались совсем близко. Левинсон узнал двоих: дозорные.

— А ну, обожди,— сказал он, выезжая на дорогу. Лошади, фыркнув, шарахнулись в сторону. Одна узнала жеребца под Левинсоном и тихо заржала.

— Так можно напужать,— сказал передний встревоженно-бодрым голосом.— Трр, стерва!..

— Кто это с вами? — спросил Левинсон, подъезжая вплотную.

— Осокинская разведка... японцы в Марьяновке...

— В Марьяновке? — встрепенулся Левинсон.— А где Осокин с отрядом?

— В Крыловке,— сказал один из разведчиков.— Отступили мы: бой страшный был, не удержались. Вот послали до вас, для связи. Завтра на корейские хутора уходим... — Он тяжело склонился на седле, точно жестокий груз собственных слов давил его.— Все прахом пошло. Сорок человек потеряли. За все лето убытку такого не было.

— Снимаетесь рано из Крыловки? — спросил Левинсон.— Поворачивайте назад — я с вами поеду...

...В отряд он вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой, тяжелой от бессонницы.

Разговор с Осокиным окончательно подтвердил правильность принятого Левинсоном решения — уйти заблаговременно, заметая следы. Еще красноречивей сказал об этом вид самого осокинского отряда: он разлезался по всем швам, как старая бочка с прогнившими клепками и ржавыми обручами, по которой крепко стукнули обушком. Люди перестали слушаться командира, бесцельно слонялись по дворам, многие были пьяны. Особенно запомнился один, кудлатый и тощий,— он сидел на площади возле дороги, уставившись в землю

мутными глазами, и в слепом отчаянии слал патрон за патроном в белесую утреннюю мглу.

Вернувшись домой, Левинсон тотчас же отправил свои письма по назначению, не сказав, однако, никому, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.

VII. Враги

В первом письме к Сташинскому, отправленном еще на другой день после памятного мужицкого схода, Левинсон делился своими опасениями и предлагал постепенно разгружать лазарет, чтобы не было потом лишней обузы. Доктор перечитал письмо несколько раз, и оттого, что мигал он особенно часто, а на желтом лице все резче обозначались челюсти, каждому стало нехорошо, сумно. Будто из маленького серого пакетика, что держал Сташинский в сухих руках, выползла, шипя, смутная Левинсонова тревога и с каждой травины, с каждого душевного донышка вспугнула уютно застоявшуюся тишь.

...Как-то сразу сломалась ясная погода, солнце зачередовало с дождем, уныло запели маньчжурские черноклены, раньше всех чувствуя дыхание недалекой осени. Старый черноклювый дятел забил по коре с небывалым ожесточением,— заскучал Пика, стал молчалив и неласков. Целыми днями бродил он по тайге, приходил усталый, неудовлетворенный. Брался за шитво — нитки путались и рвались, садился в шашки играть — проигрывал; и было у него такое ощущение, будто тянет он через тонкую соломинку гнилую болотную воду. А люди уже расходились по деревням — свертывали безрадостные солдатские узелки,— грустно улыбаясь, обходили каждого «за ручку». Сестра, осмотрев перевязки, целовала «братишек» на последнее прощанье, и шли они, утопая во мху новенькими лапоточками, в безвестную даль и слякоть.

Последним Варя проводила хромого.

— Прощай, братуха,— сказала, целуя его в губы.— Видишь, бог тебя любит — хороший денек устроил... Не забывай нас, бедных...

— А где он, бог-то? — усмехнулся хромой.— Нет бога-то... нет, нет, ядрена вошь!.. — Он хотел добавить еще

что-то, привычно-веселое и сдобное, но вдруг, дрогнув в лице, махнул рукой и, отвернувшись, заковылял по тропинке, жутко побрякивая котелком.

Теперь из раненых остались только Фролов и Мечик, да еще Пика, который, собственно, ничем не болел, но не хотел уходить. Мечик — в новой шагреневой рубахе, сшитой ему сестрой, полусидел на койке, подмостив подушку и Пикин халат. Он был уже без повязки на голове, волосы его отросли, вились густыми желтоватыми кольцами, шрам у виска делал все лицо серьезней и старше.

— Вот и ты поправишься, уйдешь скоро,— грустно сказала сестра.

— А куда я пойду? — спросил он неуверенно и сам удивился. Вопрос выплыл впервые и породил неясные, но уже знакомые представления,— не было в них радости. Мечик поморщился.— Некуда идти мне,— сказал он жестко.

— Вот тебе и на!.. — удивилась Варя.— В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш... Да ничего, научишься...

Она села рядом на койку и взяла его за руку. Мечик не глядел на нее, и мысль о том, что рано или поздно придется все-таки уйти, показалась ему ненужной сейчас, горчила, как отрава.

— А ты не бойся,— как бы поняв его, сказала Варя.— Такой красивый и молоденький, а робкий... Робкий ты,— повторила она с нежностью и, неприметно оглядевшись, поцеловала его в лоб. В ласке ее было что-то материнское.— ...Это у Шалдыбы там, а у нас ничего...— быстро зашептала она на ухо, не договаривая слов,— у него там деревенские, а у нас больше шахтеры, свои ребята — можно ладить... Ты ко мне наезжай почаще...

— А как же Морозка?

— А как же та? На карточке? — ответила она вопросом и засмеялась, отпрянув от Мечика, потому что Фролов повернул голову.

— Ну... Я уж и думать забыл... Порвал я карточку,— добавил он торопливо,— видала бумажку тогда?..

— Ну, а с Морозкой и того мене — он, поди, привык. Да он и сам гуляет... Да ты ничего, не унывай,— главное, приезжай почаще. И никому спуску не давай... сам не давай. Ребят наших бояться не нужно — это они на

вид злые: палец в рот положи — откусят... А только все это не страшно — видимость одна. Нужно только самому зубы показывать...

— А ты показываешь разве?

— Мое дело женское, мне, может, этого не надо — я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя... Только не сможешь ты,— добавила она, подумав. И снова, склонившись к нему, шепнула: — Может, я и люблю тебя за это... не знаю...

«А правда, несмелый я совсем,— подумал Мечик, подложив руки под голову и уставившись в небо неподвижным взглядом.— Но неужели я не смогу? Ведь надо как-то, умеют же другие...» В мыслях его, однако, не было теперь грусти — тоскливой и одинокой. Он мог уже на все смотреть со стороны — разными глазами. Происходило это потому, что в болезни его наступил перелом, раны быстро зарастали, тело крепло и наливалось. А шло это от земли — земля пахла спиртом и муравьями, да еще от Вари — глаза у нее были чуткие, как дым, и говорила она все от хорошей любви — хотелось верить.

«...И чего мне унывать, в самом деле? — думал Мечик, и ему действительно казалось теперь, что нет никаких поводов к унынию.— Надо сразу поставить себя на равную ногу: спуску никому не давать... самому не давать — это она очень правильно сказала. Люди здесь другие, надо и мне как-то переломиться... И я сделаю это,— подумал он с небывалой решимостью, чувствуя почти сыновнюю благодарность к Варе, к ее словам, к хорошей ее любви.— ...Все тогда пойдет по-новому... И когда я вернусь в город, никто меня не узнает — я буду совсем другой...»

Мысли его отвлеклись далеко в сторону — к светлым будущим дням,— и были они поэтому легкие, таяли сами собой, как розово-тихие облака над таежной прогалиной. Он думал о том, как вместе с Варей вернется в город в качающемся вагоне с раскрытыми окнами, и будут плыть за окном такие же розово-тихие облака над далекими мреющими хребтами. И будут они двое сидеть у окна, прижавшись друг к другу: Варя говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будут совсем золотые, как полдень... И Варя в его мечтах тоже не походила на сутулую откатчицу из шахты № 1,

потому что все, о чем думал Мечик, было не настоящее, а такое, каким он хотел бы все видеть.

...Через несколько дней пришло из отряда второе письмо,— привез его Морозка. Он натворил большого переполоху — ворвался из тайги с визгом и гиком, вздыбливая жеребца и крича что-то несуразное. Сделал же он это от избытка жизненных сил и... просто «для смеху».

— Носит тебя, дьявола,— сказал перепуганный Пика с певучей укоризной.— Тут человек умирает,— кивнул он на Фролова,— а ты орешь...

— А-а... отец Серафим! — приветствовал его Морозка.— Наше вам — сорок одно с кисточкой!..

— Я тебе не отец, а зовут меня Ф-федором...— озлился Пика. Последнее время он часто сердился, делался смешным и жалким.

— Ничего, Федосей, не пузырься, не то волосы вылезут... Супруге — почтение! — откланялся Морозка Варе, снимая фуражку и надевая ее на Пикину голову.— Ничего, Федосей, фуражка тебе к лицу. Только ты штанишки подбирай, не то висят, как на пугале, оч-чень неинтеллигентно!

— Что — скоро нам удочки сматывать? — спросил Сташинский, разрывая конверт.— Зайдешь потом в барак за ответом,— сказал, пряча письмо от Харченки, который с опасностью для жизни вытягивал шею из-за его плеча.

Варя стояла перед Морозкой, перебирая передник и впервые испытывая неловкость при встрече с мужем.

— Чего не был давно? — спросила наконец с деланным равнодушием.

— А ты небось скучала? — переспросил он насмешливо, чувствуя ее непонятную отчужденность.— Ну, ничего, теперь нарадуешься — в лес вот пойдем...— Он помолчал и добавил едко: — Страдать...

— Тебе только и делов,— ответила она сухо, не глядя на него и думая о Мечике.

— А тебе?..— Морозка выжидательно поиграл плетью.

— И мне не впервой, чать не чужие...

— Так идем?..— сказал он осторожно, не двигаясь с места.

Она опустила передник и, запрокинув косы, пошла вперед по тропинке небрежной деланной походкой, удер-

живаясь, чтобы не оглянуться на Мечика. Она знала, что он смотрит вслед жалким, растерянным взглядом и никогда не поймет, даже потом, что она исполняет только скучную обязанность.

Она ждала, что вот-вот Морозка обнимет ее сзади, но он не приближался. Так шли они довольно долго, сохраняя расстояние и молча. Наконец она не выдержала и остановилась, взглянув на него с удивлением и ожиданием. Он подошел ближе, но так и не взял ее.

— Что-то финтишь ты, девка...— сказал вдруг хрипло и с расстановкой.— Влипла уже, что ли?

— А ты что — спрос? — Она подняла голову и посмотрела на него в упор — строптиво и смело.

Морозка знал и раньше, что она гуляет в его отсутствие так же, как гуляла в девках. Он знал это еще с первого дня совместной жизни, когда пьяным утром проснулся с головной болью, в груде тел на полу, и увидел, что его молодая и законная жена спит в обнимку с рыжим Герасимом — зарубщиком из шахты № 4. Но — как и тогда, так и во всей последующей жизни — он относился к этому с полным безразличием. По сути дела, он так и не вкусил подлинной семейной жизни и сам никогда не чувствовал себя женатым человеком. Но мысль, что любовником его жены может быть такой человек, как Мечик, показалась ему сейчас очень обидной.

— В кого же это ты, желательно бы узнать? — спросил он нарочито вежливо, выдерживая ее взгляд с небрежной и спокойной усмешкой: он не хотел показывать обиды.— В энтого, маминого, что ли?

— А хоть бы и в маминого...

— Да он ничего — чистенький,— согласился Морозка.— Послаже будет. Ты ему платков нашей — сопли утирать.

— Если надо будет, и нашью и утру... сама утру! слышишь? — Она приблизила лицо вплотную и заговорила быстро и возбужденно: — Ну, чего ты храбришься, что толку в лихости твоей? За три года ребенка не сделал — только языком трепишься, а туда же... Богатырь шиновый!..

— Заделаешь тебе, как же, ежели тут целый взвод работает... Да ты не кричи,— оборвал он ее,— не то...

— Ну, что — не то?..— сказала она вызывающе.— Может, бить будешь?.. А ну, попробуй, посмотрю я...

Он удивленно приподнял плетку, словно мысль эта явилась для него неожиданным откровением, и снова опустил.

— Нет, бить я не стану...— сказал неуверенно и с сожалением, будто раздумывая еще, не вздуть ли в самом деле.— Оно и следовало бы, да не привык я бить вашего брата.— В голосе его скользнули незнакомые ей нотки.— Ну, да что ж — живи. Может, барыней будешь...— Он круто повернул и зашагал к бараку, на ходу сбивая плетью цветочные головки.

— Слушай, обожди!..— крикнула она, вдруг переполняясь жалостью.— Ваня!..

— Не надо мне барских объедков,— сказал он резко.— Пущай моими пользуются...

Она заколебалась, бежать ли за ним или нет, и не побежала. Выждала, пока он скроется за поворотом, и тогда, облизывая высохшие губы, медленно пошла вслед.

Завидев Морозку, слишком скоро вернувшегося из тайги (ординарец шел, сильно размахивая руками, с тяжелым хмурым развальцем), Мечик понял, что у Морозки с Варей «ничего не вышло» и причиной этому — он, Мечик. Неловкая радость и чувство беспричинной виновности ненужно шевельнулись в нем, и стало страшно встретиться с Морозкиным истребляющим взглядом...

У самой койки с хрустом пощипывал травку мохнатый жеребчик: казалось, ординарец идет к нему, на самом деле темная перекошенная сила влекла его к Мечику, но Морозка скрывал это даже от себя, полный неутолимой гордости и презрения. С каждым его шагом чувство виновности в Мечике росло, а радость улетучивалась, он смотрел на Морозку малодушными, уходящими внутрь глазами и не мог оторваться. Ординарец схватил жеребца под уздцы, тот оттолкнул его мордой, повернув к Мечику, будто нарочно, и Мечик захлебнулся внезапно чужим и тяжелым, мутным от ненависти взглядом. В эту короткую секунду он чувствовал себя так приниженно, так невыносимо гадко, что вдруг заговорил одними губами, без слов — слов у него не было.

— Сидите тут в тылу,— с ненавистью сказал Морозка в такт своим темным мыслям, не желая вслушиваться в беззвучные пояснения Мечика.— Рубахи шагреневые понадевали...

Ему стало обидно, что Мечик может подумать, будто злоба его вызвана ревностью, но он сам не сознавал ее истинных причин и выругался длинно и скверно.

— Чего ты ругаешься? — вспыхнув, переспросил Мечик, почувствовав непонятное облегчение после того, как Морозка выругался.— У меня ноги перебиты, а не — в тылу...— сказал он с гневной самолюбивой дрожью и горечью. В эту минуту он верил сам, что ноги у него перебиты, и вообще чувствовал себя так, словно не он, а Морозка носит шагреневые рубахи.— Мы тоже знаем таких фронтовиков,— добавил, краснея,— я б тебе тоже сказал, если бы не был тебе обязан... на свое несчастье...

— Ага-а... заело? — чуть не подпрыгнув, завопил Морозка, по-прежнему не слушая его и не желая понимать его благородства.— Забыл, как я тебя из полымя вытащил?.. Таскаем мы вас на свою голову!..— закричал он так громко, словно каждый день таскал «из полымя» раненых, как каштаны,— на св-вою голову!.. вот вы где у нас сидите!..— И он ударил себя по шее с невероятным ожесточением.

Сташинский и Харченко выскочили из барака. Фролов повернул голову с болезненным удивлением.

— Вы что кричите? — спросил Сташинский, с жуткой быстротой мигая одним глазом.

— Совесть моя где?! — кричал Морозка в ответ на вопрос Мечика, где у него совесть.— Вот она где, совесть,— вот, вот! — рубил он с остервенением, делая неприличные жесты. Из тайги, с разных сторон, бежали сестра и Пика, крича что-то наперерыв. Морозка вскочил на жеребца и сильно вытянул его плетью, что случалось с ним только в минуты величайшего возбуждения. Мишка взвился на дыбы и прыгнул в сторону, как ошпаренный.

— Обожди, письмо захватишь!.. Морозка!..— растерянно крикнул Сташинский, но Морозки уже не было. Из потревоженной чащи доносился бешеный топот удалявшихся копыт.

VIII. Первый ход

Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента, ветви больно хлестали Морозку по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой

злобы, обиды, мщения. Отдельные моменты нелепого разговора с Мечиком — один хлеще другого — вновь и вновь рождались в разгоряченном мозгу, и все же Морозке казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям.

Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Он мог бы жестоко высмеять любовь Мечика к кудрявой барышне, портрет которой, может, еще хранится у него в кармане пиджака, возле сердца, и надарить эту красивую, чистенькую барышню самыми паскудными именами... Тут он вспомнил, что Мечик ведь спутался с его женой и навряд ли оскорбится теперь за чистенькую барышню, и вместо злорадного торжества над унижением противника Морозка снова чувствовал свою непоправимую обиду.

...Мишка, разобиженный вконец несправедливостью хозяина, бежал до тех пор, пока в натруженных губах не ослабели удила; тогда он замедлил ход и, не слыша новых понуканий, пошел показно-быстрым шагом, совсем как человек, оскорбленный, но не теряющий собственного достоинства. Он не обращал внимания на соек,— они много кричали в этот вечер, но, как всегда, попусту, и казались ему суетливыми и глупыми.

Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы, прямо в лицо, било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело,— так не похоже на соечью людскую суету. Гнев Морозки остыл. Обидные слова, которые он сказал или хотел сказать Мечику, давно утратили мстительно-яркое оперение, предстали во всей своей общипанной неприглядности: они были ненужно-крикливы и легковесны. Он сожалел уже, что связался с Мечиком — не «выдержал марку» до конца. Он чувствовал теперь, что Варя вовсе не так безразлична ему, как это казалось раньше, и вместе с тем твердо знал, что никогда уже не вернется к ней. И оттого, что Варя была наиболее близким человеком, который связывал его с прежней жизнью на руднике, когда он жил «как все», когда все казалось ему простым и ясным,— теперь, расставшись с ней, он испытывал такое чувство, точно эта большая и цельная полоса его жизни завершилась, а новая еще не началась.

Солнце заглядывало Морозке под козырек — оно еще стояло над хребтом бесстрастным, немигающим глазом, но поля вокруг были тревожно-безлюдны.

Он видел неубранные ячменные снопы на недожатых полосах, бабий передник, забытый второпях на суслоне[1], грабли, комлем воткнутые в межу. На покривившемся стогу уныло, по-сиротски, примостилась ворона и молчала. Но все это проплывало мимо сознания. Морозка разворошил давнишнюю слежавшуюся пыль воспоминаний и обнаружил, что это совсем не веселый, а очень безрадостный проклятый груз. Он почувствовал себя заброшенным и одиноким. Казалось, он сам плывет над огромным вымороченным полем, и тревожная пустота последнего только сильней подчеркивала его одиночество.

Очнулся он от дробного конского топота, внезапно вырвавшегося из-за бугра. Едва вскинул голову — перед ним выросла стройная, перетянутая в поясе фигурка дозорного на глазастой бедовой лошадке,— от неожиданности она так и села на задние ноги.

— Ну, ты-ы, кобло́, вот кобло!..— выругался дозорный, поймав на лету сбитую толчком фуражку.— Морозка, что ли? Вали скорей до дому, до дому вали: там у нас такое — не разбери-поймешь, ей-богу...

— А что?

— Да дезертиры тут прошли, наговорили цельный воз, цельный воз — японцы-то вот-вот будут! Мужики с поля, бабы в рев... Нагнали у парома телег, что твой базар — потеха!.. Мало паромщика не убили, доси, поди, всех не переправил — нет, не переправил!.. А Гришка наш сгонял верст за десять — японцев и слыхом не слыхать, не слыхать — брехня. Набрехали, суки!.. Стрелять за такие дела — и то патронов жалко, и то жалко, ей-богу...— Дозорный брызгал слюной, размахивал плетью и то снимал, то надевал фуражку, лихо потряхивая кудерьками, словно, помимо всего прочего, хотел еще сказать: «Смотри, дорогой, как девки меня любят».

Морозка вспомнил, как месяца два тому назад этот парень украл у него жестяную кружку, а после божился, что она у него «еще с германского фронта». Кружки было не жаль теперь, но воспоминание это — сразу, бы-

[1] Суслон — составленные на жнивье снопы. (*Прим. А. Фадеева.*)

строй слов дозорного, которого Морозка не слушал, занятый своим,— втолкнуло его в привычную колею отрядной жизни. Срочная эстафета, приезд Канунникова, отступление Осокина, слухи, которыми питался отряд последнее время,— все это хлынуло на него тревожной волной, смывая черную накипь прошедшего дня.

— Какие дезертиры, чего ты трепишься? — перебил он дозорного. Тот удивленно приподнял бровь и застыл с занесенной фуражкой, которую только что снял и снова собирался надеть.— Тебе бы только фасон давить, женя с ручкой! — презрительно сказал Морозка; сердито дернул под уздцы и через несколько минут был уже у парома.

Волосатый паромщик, с подвернутой штаниной, с огромным чирьем на колене, и впрямь замучился, гоняя перегруженный паром взад и вперед, и все же многие еще толпились на этой стороне. Едва паром приставал к берегу, на него обрушивалась целая лавина людей, мешков, телег, голосивших ребят, люлек — каждый старался поспеть первым; все это толкалось, кричало, скрипело, падало,— паромщик, потеряв голос, напрасно раздирал глотку, стараясь водворить порядок. Курносая баба, успевшая лично поговорить с дезертирами, терзаемая неразрешимым противоречием между желанием скорее попасть домой и досказать свои новости остающимся,— в третий раз опаздывала на паром, тыкала вслед громадным, больше себя, мешком с ботвой для свиней и то молила: «Господи, господи», то снова принималась рассказывать, чтобы опоздать в четвертый раз.

Морозка, попав в эту сумятицу, хотел было по старой привычке («для смеху») попугать еще сильнее, но почему-то раздумал и, соскочив с лошади, принялся успокаивать.

— И охота брехать тебе, никаких там японцев нету,— перебил вконец осатаневшую бабу,— расскажет тоже: «Га-азы пущают...» Какие там газы? Корейцы, может, солому палили, а ей — га-азы...

Мужики, забыв про бабу, обступили его,— он вдруг почувствовал себя большим, ответственным человеком и, радуясь необычной своей роли и даже тому, что подавил желание «попугать»,— до тех пор опровергал и высмеивал россказни дезертиров, пока окончательно не расхолодил собравшихся. Когда причалил следующий

паром, не было уже такой давки. Морозка сам направлял подводы по очереди, мужики сетовали, что рано уехали с поля и в досаде на себя ругали лошадей. Даже курносая баба с мешком попала наконец в чью-то телегу между двумя конскими мордами и широким мужичьим задом.

Морозка, перегнувшись через перила, смотрел, как бегут меж лодок белые кружочки пены — ни один не обгонял другого,— их естественный порядок напомнил ему, как сам он только что сорганизовал мужиков; напоминание это было приятно.

У поскотины он встретил дозорную смену — пятерых ребят из взвода Дубова. Они приветствовали его смехом и добродушной матерщиной, потому что всегда были рады его видеть, а говорить им было не о чем и потому еще, что все это были здоровые и крепкие ребята, а вечер наступал прохладный, бодрый.

— Катись колбаской!..— проводил их Морозка и с завистью посмотрел вслед. Ему захотелось быть вместе с ними, с их смехом и матерщиной — вместе мчаться в дозор прохладным и бодрым вечером.

Встреча с партизанами напомнила Морозке, что, уезжая из госпиталя, он не захватил письма Сташинского, а за это может попасть. Картина сходки, когда он чуть не вылетел из отряда, внезапно встала перед глазами, и сразу что-то защемило. Морозка только теперь почувствовал, что это событие было, может, самым важным для него за последний месяц — гораздо важнее того, что произошло в госпитале.

— Михрютка,— сказал он жеребцу и взял его за холку.— Надоело мне все, браток, до бузовой матери...— Мишка мотнул головой и фыркнул.

Подъезжая к штабу, Морозка принял твердое решение «наплевать на все» и отпроситься во взвод к ребятам, сложив с себя обязанности ординарца.

На крыльце у штаба Бакланов допрашивал дезертиров,—они были безоружны и под охраной. Бакланов, сидя на ступеньке, записывал фамилии.

— Иван Филимонов...— лепетал один жалобным голосом, изо всех сил вытягивая шею.

— Как?.. — грозно переспрашивал Бакланов, поворачиваясь к нему всем туловищем, как это делал обычно Левинсон. (Бакланов думал, что Левинсон поступает

так, желая подчеркнуть особую значительность своих вопросов, на самом же деле Левинсон поворачивался так потому, что когда-то был ранен в шею и иначе вообще не мог повернуться.)

— Филимонов?.. Отчество!..

— Левинсон где? — спросил Морозка. Ему кивнули на дверь. Он поправил чуб и вошел в избу.

Левинсон занимался за столом в углу и не заметил его. Морозка в нерешительности поиграл плеткой. Как и всем в отряде, командир казался Морозке необыкновенно правильным человеком. Но так как жизненный опыт подсказывал ему, что правильных людей не существует, то он старался убедить себя, что Левинсон, наоборот,— величайший жулик и «себе на уме». Тем не менее он тоже был уверен, что командир «все видит насквозь» и обмануть его почти невозможно: когда приходилось просить о чем-либо, Морозка испытывал странное недомогание.

— А ты все в бумагах возишься, как мыша,— сказал он наконец.— Отвез я пакет в полной справности.

— Ответа нет?

— Не-ету...

— Ладно.— Левинсон отложил карту и встал.

— Слушай, Левинсон...— начал Морозка.— У меня просьба к тебе... Сполнишь — вечным другом будешь, правда...

— Вечным другом? — с улыбкой переспросил Левинсон.— Ну, говори, что там за просьба.

— Пусти меня во взвод...

— Во взво-од?.. С чего это тебе приспичило?

— Да долго рассказывать — очертело мне, поверь совести... Точно и не партизан я, а так...— Морозка махнул рукой и нахмурился, чтобы не выругаться и не испортить дела.

— А кто же ординарцем?

— Да Ефимку можно приспособить,— уцепился Морозка.— Ох, и ездок, скажу тебе,— в старой армии призы брал!

— Так говоришь, вечным другом? — снова переспросил Левинсон таким тоном, точно это соображение могло иметь как раз решающее значение.

— Да ты не смейся, холера чертова!..— не выдержал Морозка.— К нему с делом, а он хаханьки...

— А ты не горячись. Горячиться вредно... Скажешь Дубову, чтоб прислал Ефимку, и... можешь отправляться.

— Вот эт-то удружил, вот удружил!..— обрадовался Морозка.— Вот поставил марку... Левинсон... эт-то н-номер!..— Он сорвал с головы фуражку и хлопнул ею об пол.

Левинсон поднял фуражку и сказал:

— Дура.

...Морозка приехал во взвод — уже стемнело. Он застал в избе человек двенадцать. Дубов, сидя верхом на скамейке, при свете ночника разбирал наган.

— А-а, нечистая кровь...— пробасил он из-под усов. Увидев сверток в руках Морозки, удивился: — Ты чего это со всеми причиндалами? Разжаловали, что ли?

— Шабаш! — закричал Морозка.— Отставка!.. Перо в зад, без пенсии... Снаряжай Ефимку — командир приказывает...

— Видно, ты удружил? — едко спросил Ефимка, сухой и желчный парень, заросший лишаями.

— Вали, вали — там разберемся... Одним словом — с повышением, Ефим Семенович!.. Магарыч с вас...

От радости, что снова находится среди ребят, Морозка сыпал прибаутками, дразнился, щипал хозяйку, крутился по избе, пока не налетел на взводного и не опрокинул ружейного масла.

— Калека, вертило немазаное! — выругался Дубов и хлопнул его по спине так, что Морозкина голова мало не отделилась от туловища.

И хоть было очень больно, Морозка не обиделся — ему даже нравилось, как ругается Дубов, употребляя свои, никому не известные слова и выражения: все здесь он принимал как должное.

— Да... пора, пора уж...— говорил Дубов.— Это хорошо, что ты снова к нам присмыкнулся. А то испохабел вовсе — заржавел, как болт неприткнутый, из-за тебя срам...

Все соглашались с тем, что это хорошо, но по другой причине: большинству нравилось в Морозке как раз то, что не нравилось Дубову.

Морозка старался не вспоминать о поездке в госпиталь. Он очень боялся, что кто-нибудь спросит: «А как жинка твоя поживает?..»

Потом вместе со всеми он ездил на реку поить лошадей... Глухо, нестрашно кричали в забоке сычи, в тумане над водой расплывались конские головы, тянулись молча, насторожив уши; у берега ежились темноликие кусты в холодной медвяной росе. «Вот это жизнь...» — думал Морозка и ласково подсвистывал жеребцу.

Дома чинили седла, протирали винтовки; Дубов читал вслух письма с рудника, а ложась спать, назначил Морозку дневальным «по случаю возвращения в Тимофеево лоно».

Весь вечер Морозка чувствовал себя исправным солдатом и хорошим, нужным человеком.

Ночью Дубов проснулся от сильного толчка в бок.

— Что? что?..— спросил испуганно и сел. Не успел продрать глаза на тусклый ночничок — услышал, вернее почувствовал, отдаленный выстрел, через некоторое время другой.

У кровати стоял Морозка, кричал:

— Вставай скорей! Стреляют за рекой!..

Редкие одиночные выстрелы следовали один за другим с почти правильными промежутками.

— Буди ребят,— распорядился Дубов,— сейчас же крой по всем халупам... Скоро!..

Через несколько секунд в полном боевом снаряжении он выскочил во двор. Небо расступилось — безветренно-холодное. По мглистым нехоженым тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды. Из темной дыры сеновала выскакивали — один за другим — взъерошенные партизаны, ругаясь, застегивая на ходу патронташи, выводили лошадей. С насестов с неистовым кудахтаньем летели куры, лошади бились и ржали.

— В ружье!.. по коням! — командовал Дубов.— Митрий, Сеня!.. Бежите по хатам, будите людей!.. Скоро!..

С площади у штаба взвилась динамитная ракета и покатилась по небу с дымным шипеньем. Сонная баба высунулась в окно и быстро нырнула обратно.

— Завязывай...— сказал кто-то упавшим в дрожи голосом.

Примчавшийся из штаба Ефимка кричал в ворота:

— Тревога!.. Все на сборное место в полном готове!..— Взметнул над венцом оскаленной лошадиной пастью и, крикнув еще что-то непонятное, исчез.

Когда вернулись посланные, оказалось, что больше

половнны взвода не ночует дома: с вечера ушлн на гулянку и, видно, остались у девчат. Растерявшийся Дубов, не зная — выступать ли с наличным составом или съездить в штаб самому узнать, в чем дело,— ругаясь в бога и священный сннод, послал во все концы разыскивать поодиночке. Два раза приезжали ординарцы с приказом немедленно прибыть всем взводом, а он все не мог найтн людей, метался по двору, как пойманный зверь, готов был в отчаянии пустить себе пулю в лоб и, может быть, пустил бы, если б не чувствовал все время своей тяжелой ответственности. Многие в эту ночь пострадали от его безжалостных кулаков.

Наконец, напутствуемый надрывным собачьнм воем, взвод ринулся к штабу, наполняя придавленные страхом улицы бешеным конским топотом и звоном стали.

Дубов очень удивился, застав весь отряд на площади. Вдоль по главному тракту вытянулся готовый в путь обоз,— многие, спешившись, сидели возле лошадей н курили. Он отыскал глазами маленькую фигурку Левннсона, тот стоял возле освещенных факелом бревен н спокойно разговарнвал с Метелицей.

— Что ж ты так поздно? — наброснлся Бакланов.— А говорншь еще: «Мы-ы... шахте-еры...» — Он был вне себя, иначе никогда бы не сказал Дубову подобной фразы. Взводный только рукой махнул. Самым обндным для него было сознанне, что этот вот молодой парень Бакланов имеет теперь законное право всячески хулить его, но даже хула та не будет достойной платой за его, Дубова, вину. Кроме того, Бакланов уязвил его в самое больное место: в глубине душн Дубов полагал, что звание шахтера самое высокое н почетное, какое только может носить человек на земле. Теперь он был уверен, что его взвод опозорил и себя, и Сучанскнй рудннк, и все шахтерское племя, по крайней мере, до седьмого колена.

Изругавшнсь вволю, Бакланов уехал снимать дозоры. От пятерых ребят, вернувшнхся из-за реки, Дубов узнал, что никакого неприятеля нет, а стрелялн онн «в белый свет как в копейку», по прнказанию Левинсона. Он понял тогда, что Левинсон хотел проверить боевую готовность отряда, н ему стало еще горше от сознання, что он не оправдал доверня командира, не стал примером для других.

Когда взводы построились и сделали перекличку, обнаружилось, что многих все же недостает. Особенно много дезертиров оказалось у Кубрака. Сам Кубрак ездил днем прощаться с родней и до сих пор не протрезвился. Несколько раз он обращался к своему взводу с речью — «могут ли его уважать, если он такой подлец и свинья»,— и плакал. И весь отряд видел, что Кубрак пьян. Только Левинсон будто не замечал этого, иначе пришлось бы снять Кубрака с должности, а его некем было заменить.

Левинсон проехал по строю и, вернувшись на середину, поднял руку. Она повисла холодно и строго. Слышны стали тайные ночные шумы.

— Товарищи...— начал Левинсон, и голос его, негромкий, но внятный, был услышан каждым, как биение своего сердца.— Мы уходим отсюда... куда — этого не стоит говорить. Японские силы — хотя их не нужно преувеличивать — все же такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет. Она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание?.. Сегодня никак не оправдали... Мы распустились, как девочки!.. Ну что, если бы на самом деле были японцы?.. Да они ведь передушили б нас, как цыплят!.. Срам!..— Левинсон быстро перегнулся вперед, и последние его слова хлестнули сразу развернутой пружиной так, что каждый вдруг почувствовал себя захваченным врасплох цыпленком, которого душат в темноте неумолимые железные пальцы.

Даже ничего не понявший Кубрак сказал убежденно:

— Прравильно... Все ето... прравильно...— Крутнул квадратной головой и громко икнул.

Дубов ждал с минуты на минуту, что Левинсон скажет: «Вот, например, Дубов — он пришел сегодня к шапочному разбору, а ведь я надеялся на него больше всех,— срам!..» Но Левинсон никого не упомянул по имени. Он вообще говорил немного, но упорно бил в одно место, будто вколачивал массивный гвоздь, которому предстоит служить на вечные времена. Только убедившись, что слова его дошли по назначению, он посмотрел в сторону Дубова и неожиданно сказал:

— Дубова взвод пойдет с обозом... Уж больно прыт-

кий...— вытянулся на стременах и, взмахнув плетью, скомандовал: — Сми-и-ирно... справа по три... а-а-арш!..

Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули седла, и, колыхаясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая вереница людей поплыла туда, где из-за древних сихотэ-алиньских отрогов — такой же древний и молодой — вздымался рассвет.

IX. Мечик в отряде

Сташинский узнал о выступлении от помощника начхоза, прибывшего в лазарет заготовлять продовольствие.

— Он, Левинсон-то, смекалистый,— говорил помощник, подставляя солнцу выцветшую горбатую спину.— Без его мы бы все пропали... Вот и здесь рассуди: дорогу в лазарет никто не знает, в случае чего загонют нас — мы сюда всем отрядом шасть!.. и поминай, как нас звали... а уж тут и провиант и фураж припасены. Ло-овко придумано!..— Помощник в восхищении крутил головой, и Сташинский видел, что хвалит он Левинсона не только потому, что тот на самом деле «смекалистый», а еще из приятности, которую доставляет помощнику приписывание другому человеку не свойственных ему самому хороших качеств.

В этот же день Мечик впервые встал на ноги. Поддерживаемый под руки, прошелся по лужайке, удивленно-радостно ощущая упругий дерн под ногами, и беспричинно смеялся. А после, лежа на койке, чувствовал неугомонное биение сердца не то от усталости, не то от этого радостного ощущения земли. Ноги еще дрожали от слабости, и по всему телу бродил веселый, прыгающий зуд.

Пока Мечик гулял, на него с завистью смотрел Фролов, и Мечик никак не мог перебороть чувство какой-то вины перед ним. Фролов болел уже так долго, что исчерпал все сострадание окружающих. В их непременной ласке и заботливости он слышал постоянный вопрос: «Когда же ты все-таки умрешь?» — но умирать не хотел. И видимая нелепость его цепляний за жизнь давила всех, как могильная плита.

До последнего дня пребывания Мечика в госпитале между ним и Варей тянулись странные отношения, похожие на игру, где каждый знал, чего хочет одна и бо-

ится другой, но ни один не решался сделать смелый, исчерпывающий ход.

За трудную и терпеливую свою жизнь, где мужчин было так много, что невозможно было отличить их по цвету глаз, волос, даже по именам,— Варя ни одному не могла сказать: «Желанный, любимый». Мечик был первый, которому она вправе была — и сказала эти слова. Ей казалось, что только он, такой красивый, скромный и нежный, способен удовлетворить ее тоску материнства и что полюбила она его именно за это. В тревожной немоте она звала его по ночам, искала каждый день неутолимо, жадно, стараясь увести от людей, чтобы подарить свою позднюю любовь, но никогда не решалась почему-то сказать этого прямо.

И хоть Мечику хотелось того же со всем пылом и воображением только что созревшей юности, он упорно избегал оставаться с ней наедине — то таскал за собой Пику, то жаловался на нездоровье. Он робел потому, что никогда не был близок с женщиной; ему казалось, что это выйдет у него не так, как у людей, а очень стыдно. Если же удавалось преодолеть робость, перед ним вставала вдруг гневная фигура Морозки, как он идет из тайги, размахивая плетью, и Мечик испытывал тогда смесь страха и сознания своего неоплатного долга перед этим человеком.

В этой игре он похудел и вырос, но так до последней минуты и не превозмог слабости. Ушли они вместе с Пикой, неловко простившись со всеми, словно с чужими. Варя нагнала их на тропе.

— Давай уж хоть простимся как следует,— сказала, зардевшись от бега и смущения.— Там я постеснялась как-то... никогда этого не было, а тут постеснялась,— и виновато сунула ему вышитый кисет, как делали все молодые девушки на руднике.

Ее смущение и подарок так не вязались с ней,— Мечику стало жаль ее и стыдно перед Пикой, он едва коснулся ее губами, а она смотрела на него последним дымчатым взглядом, и губы ее кривились.

— Смотри же, наезжай!..— крикнула она, когда они уж скрылись в чаще. И, не слыша ответа, тут же опустившись в траву, заплакала.

Дорогой, оправившись от грустных воспоминаний, Мечик почувствовал себя настоящим партизаном, даже

подвернул рукава, желая загореть: ему казалось, что это очень необходимо в той новой жизни, которую он начал после памятного разговора с сестрой.

Устье Ироходзы было занято японскими войсками и колчаковцами. Пика трусил, нервничал, жаловался всю дорогу на несуществующие боли. Мечик никак не мог уговорить его обойти село долиной. Пришлось карабкаться по хребтам, по безвестным козьим проторям. Они спустились к реке на вторую ночь скалистыми кручами, едва не убившись,— Мечик еще нетвердо чувствовал себя на ногах. Почти к утру попали в корейскую фанзу; жадно глотали чумизу без соли, и, глядя на истерзанную, жалкую фигуру Пики, Мечик никак не мог восстановить пленявший его когда-то образ тихого и светлого старичка над тихим камышовым озером. Раздавленным своим видом Пика как бы подчеркивал непрочность и лживость этой тишины, в которой нет отдыха и спасения.

Потом шли редкими хуторами, где никто не слыхал о японцах. На вопрос — проходил ли отряд? — им указывали в верховья, расспрашивали новости, поили медовым квасом, девки заглядывались на Мечика. Началась уже бабья страда. Дороги тонули в густой колосистой пшенице, росились по утрам опустевшие паутины, и воздух был полон пчелиного предосенне-жалобного гуда.

В Шибиши они пришли под вечер: деревушка стояла под лесистой горой, на пригреве,— закатное солнце било с противоположной стороны. У дряхлой, заросшей грибами часовенки группа веселых, горластых парней с красными бантами во всю фуражку играла в городки. Только что пробил маленький человек в высоких ичигах и с рыжей, длинным клином, бородой, похожий на гнома, каких рисуют в детских сказках,— позорно промахнув все палки. Над ним смеялись. Человечек конфузливо улыбался, но так, что все видели, что ему нисколько не конфузно, а тоже очень весело.

— Вон он, Левинсон-то,— сказал Пика.

— Где?

— Да вон — рыжий...— Бросив недоумевающего Мечика, Пика с неожиданной, бесовской прытью посеменил к маленькому человечку.

— Глянь, ребята,— Пика!..

— Пика и есть...

— Приплелся, черт лысый!..

Парни, побросав игру, обступили старика. Мечик остался в стороне, не зная — подойти или ждать, пока позовут.

— Кто это с тобой? — спросил наконец Левинсон.

— А парень один с госпиталя... ха-роший парень!..

— Раненый это, что Морозка привез,— вставил кто-то, узнав Мечика. Тот, услышав, что говорят о нем, подошел ближе.

У маленького человечка, так плохо игравшего в городки, оказались большие и ловкие глаза,— они схватили Мечика и, вывернув его наизнанку, подержали так несколько мгновений, будто взвешивали все, что там оказалось.

— Вот пришел к вам в отряд,— начал Мечик, краснея за свои засученные рукава, которые забыл отвернуть.— Раньше был у Шалдыбы... до ранения,— добавил для вескости.

— А у Шалдыбы с каких пор?

— С июня — так, с середины...

Левинсон снова окинул его пытливым, изучающим взглядом.

— Стрелять умеешь?

— Умею...— неуверенно сказал Мечик.

— Ефимка... Принеси драгунку...

Пока бегали за винтовкой, Мечик чувствовал, как щупают его со всех сторон десятки любопытных глаз, немое упорство которых он начинает принимать за враждебность.

— Ну вот... Во что бы тебе выстрелить? — Левинсон поискал глазами.

— В крест! — радостно предложил кто-то.

— Нет, в крест не стоит... Ефимка, поставь городок на столб, вон туда...

Мечик взял винтовку и едва не зажмурился от жути, которая им овладела (не потому, что нужно было стрелять, а потому, что казалось, будто все хотят его промаха).

— Левой рукой поближе возьми,— легше так,— посоветовал кто-то.

Эти слова, сказанные с явным сочувствием, много помогли Мечику. Осмелев, он надавил курок и в грохоте выстрела — тут он все-таки зажмурился — успел заметить, как городок слетел со столба.

— Умеешь...— засмеялся Левинсон.— С лошадью обращаться приходилось?

— Нет,— сознался Мечик, готовый после такого успеха принять на себя даже чужие грехи.

— Жаль,— сказал Левинсон. Видно было, что ему действительно жаль.— Бакланов, дашь ему Зючиху.— Он лукаво прищурился.— Береги ее, лошадь безобидная. Как беречь, взводный научит... В какой взвод мы его направим?

— Я думаю, к Кубраку — у него недостача,— сказал Бакланов.— Вместе с Пикой будут.

— И то...— согласился Левинсон.— Вали.

...Первый же взгляд на Зючиху заставил Мечика забыть свою удачу и вызванные ею мальчишески гордые надежды. Это была слезливая скорбная кобыла, грязно-белого цвета, с продавленной спиной и мякинным брюхом — покорная крестьянская лошадка, испахавшая в своей жизни не одну десятину. Вдобавок ко всему она была жеребой, и странное ее прозвище пристало к ней, как к шепелявой старухе господне благословение.

— Это мне, да?..— спросил Мечик упавшим голосом.

— Лошадь неказистая,— сказал Кубрак, хлопнув ее по заду.— Копыта у ее слабые — не то, сказать, от воспитания, не то от болезненного отношения... Ездить, однако, можно...— Он повернул к Мечику квадратную, в седоватом ежике, голову и повторил с тупой убежденностью: — Можно ездить...

— Разве других у вас нет? — спросил Мечик, сразу проникаясь бессильной ненавистью к Зючихе и к тому, что на ней можно ездить.

Кубрак, не ответив, принялся скучно и монотонно рассказывать, что должен делать Мечик утром, в обеди вечером с этой обшарпанной кобылой, чтобы уберечь ее от неисчислимых опасностей и болезней.

— Вернулся с походу — сразу не расседлывай,— поучал взводный,— пущай постоит, остынет. А как только расседлал, вытри ее спину ладошкой или сеном и перед тем, как седлать, тоже вытирай...

Мечик с дрожью в губах смотрел куда-то поверх лошади и не слушал. Он чувствовал себя так, словно эту обидную кобылу с разляпанными копытами дали ему нарочно, чтобы унизить с самого начала. Последнее время всякий свой поступок Мечик рассматривал под уг-

лом той новой жизни, которую он должен был начать. И ему казалось теперь, что не может быть речи о какой-то новой жизни с этой отвратительной лошадью: никто не будет видеть, что он уже совсем другой, сильный, уверенный в себе человек, а будут думать, что он прежний, смешной Мечик, которому нельзя доверить даже хорошей лошади.

— У кобылы у етой, помимо протчего — ящур...— неубедительно говорил взводный, не желая знать, как Мечик обижен и доходят ли слова по назначению.— Лечить бы его надо купоросом, одначе купоросу у нас нету. Ящур лечим мы куриным пометом — средство тоже очень искреннее. Наложить надо на тряпочку и обернуть округ удилов перед зануздкой — очень помогаить...

«Что я — мальчишка, что ли? — подумал Мечик, не слушая взводного.— Нет, я пойду и скажу Левинсону, что я не желаю ездить на такой лошади... Я вовсе не обязан страдать за других (ему приятно было думать, будто он стал жертвой за кого-то другого). Нет, я все скажу ему прямо, пускай он не думает...»

Только когда взводный кончил и лошадь была вверена всецело попечению Мечика, он пожалел, что не слушал объяснений, Зючиха, понурив голову, лениво перебирала белыми губами, и Мечик понял, что вся ее жизнь находится теперь в его руках. Но он по-прежнему не знал, как распоряжаться нехитрой лошадиной жизнью. Он не сумел даже хорошенько привязать эту безропотную кобылу, она бродила по всем конюшням, тычась в чужое сено, раздражая лошадей и дневальных.

— Да где он, холера, новенький этот?.. Чего кобылу свою не вяжет!..— кричал кто-то в сарае. Слышались яростные удары плети.— Пошла, пошла-а, стерва!.. Дневальный, убери кобылу, ну ее к...

Мечик, вспотев от быстрой ходьбы и внутреннего жара, перебирая в голове самые злые выражения, натыкаясь на колючий кустарник, шагал по темным, дремлющим улицам, отыскивая штаб. В одном месте чуть не попал на гулянку — хриплая гармонь исходила «Саратовской», пыхали цигарки, звенели шашки и шпоры, девчата визжали, дрожала земля в сумасшедшем плясе. Мечик постеснялся спросить у них дорогу и обошел стороной. Он проплутал бы всю ночь, если бы навстречу не вынырнула из-за угла одинокая фигура.

— Товарищ! Где пройти к штабу? — окликнул Мечик, подходя ближе. И узнал Морозку.— Здравствуйте...— сказал с сильным смущением.

Морозка остановился в замешательстве, издав какой-то неопределенный звук...

— Второй двор направо,— ответил наконец, не придумав ничего большего. Странно блеснул глазами и прошел мимо, не оборачиваясь...

«Морозка... да... ведь он здесь...» — подумал Мечик и, как в прежние дни, почувствовал себя одиноким, окруженным опасностями в виде Морозки, темных, незнакомых улиц, безропотной кобылы, с которой неизвестно как обращаться.

Когда он подошел к штабу, решимость его окончательно ослабела, он не знал уже, зачем пришел, что будет делать и говорить.

Человек двадцать партизан лежали вокруг костра, разведенного посреди пустого, огромного, как поле, двора. Левинсон сидел у самого костра, поджав по-корейски ноги, околдованный дымным шипучим пламенем, и еще больше напомнил Мечику гнома из детской сказки. Мечик приблизился и стал позади,— никто не оглянулся на него. Партизаны по очереди рассказывали скверные побасенки, в которых неизменно участвовал недогадливый поп с блудливой попадьей и удалой парень, легко ходивший по земле, ловко надувавший попа из-за ласковых милостей попадьи. Мечику казалось, что рассказываются эти вещи не потому, что они смешны на самом деле, а потому, что больше нечего рассказывать; смеются же по обязанности. Однако Левинсон все время слушал со вниманием, смеялся громко и будто искренне. Когда его попросили, он тоже рассказал несколько смешных историй. И так как был среди собравшихся самый грамотный, истории его получались самыми замысловатыми и скверными. Но Левинсон, как видно, нисколько не стеснялся, а говорил насмешливо-спокойно, и скверные слова шли, будто не задевая его, как чужие.

Глядя на него, Мечику невольно захотелось рассказать самому — в сущности, он любил слушать такие вещи, хотя считал их стыдными и старался делать вид, будто стоит выше их,— но ему казалось, что все посмотрят на него с удивлением и выйдет очень неловко.

Он так и ушел, не присоединившись, унося в сердце досаду на себя и обиду на всех, больше на Левинсона. «Ну и пусть,— думал Мечик, обидчиво поджимая губы,— все равно я не буду за ней ухаживать, пускай подыхает. Посмотрим, что он запоет, а я не боюсь...»

В последующие дни он действительно перестал обращать внимание на лошадь, брал ее только на конное учение, изредка на водопой. Если бы он попал к более заботливому командиру, возможно, его скоро бы подтянули, но Кубрак никогда не интересовался, что делается во взводе, предоставляя всему идти положенным ходом. Зючиха обросла паршами, ходила голодная, непоеная, изредка пользуясь чужой жалостью, а Мечик снискал всеобщую нелюбовь, как «лодырь и задавала».

Из всего взвода только два человека были ему более или менее близки — Пика и Чиж. Но сошелся он с ними не потому, что они удовлетворяли его, а потому, что больше ни с кем не умел сойтись. Чиж сам подошел к нему, стараясь снискать его расположение. Улучив момент, когда Мечик, после ссоры с отделенным из-за нечищеной винтовки, лежал один под навесом, тупо уставившись в потолок, Чиж приблизился к нему развязной походкой со словами:

— Рассердились?.. Бросьте! Тупой, малограмотный человек, стоит ли обращать внимание?

— Я не сержусь,— сказал Мечик со вздохом.

— Значит, скучаете? Это другое дело, это я могу понять...— Чиж опустился на снятый передок телеги и привычным жестом подтянул свои густо смазанные сапоги.— Что ж, знаете, и мне скучно — интеллигентных людей тут мало. Разве только Левинсон, да он тоже...— Чиж махнул рукой и многозначительно посмотрел на ноги.

— А что?..— спросил Мечик с любопытством.

— Да что ж, знаете, вовсе не такой уж образованный человек. Просто хитрый. На нашем горбу капиталец себе составляет. Не верите? — Чиж горько улыбнулся.— Ну да! Вы, конечно, думаете, что он очень храбрый, талантливый полководец.— Слово «полководец» он произнес с особым смаком.— Бросьте!.. Все это мы сами сочинили. Я вас уверяю... Да вот возьмем хотя бы конкретный случай нашего ухода: вместо того чтобы стремительным ударом опрокинуть неприятеля, мы ушли куда-то в

трущобу. Из высших, видите ли, стратегических соображений! Там, может быть, товарищи наши погибают, а у нас — стратегические соображения...— Чиж, не замечая, вынул из колеса чекушку и досадливо сунул ее обратно.

Мечику не верилось, чтобы Левинсон был действительно таков, каким изображал его Чиж, но слушать было интересно: он давно не слыхал такой грамотной речи, и ему хотелось почему-то, чтобы в ней была доля правды.

— Неужели это верно? — сказал он, приподымаясь.— А он показался мне очень порядочным человеком.

— Порядочным?! — ужаснулся Чиж. Голос его утратил обычные сладковатые нотки, и в нем звучало теперь сознание своего превосходства.— Какое заблуждение. Да вы посмотрите, каких он подбирает людей!.. Ну что такое Бакланов? Мальчишка! Много о себе думает, а какой из него помощник командира? Разве нельзя было других найти? Конечно, я сам больной, израненный человек — я ранен семью пулями и оглушен снарядом,— я вовсе не гонюсь за такой хлопотной должностью, но, во всяком случае, я был бы не хуже его — скажу не хвалясь...

— Может быть, он не знал, что вы хорошо понимаете в военном деле?

— Господи, не знал! Да все об этом знают, спросите у любого. Конечно, многие завидуют и наговорят вам по злобе, но это же факт!..

Постепенно Мечик оживился тоже и стал делиться своими настроениями. Весь день они провели вместе. И хотя после нескольких таких встреч Чиж стал просто неприятен Мечику, все же он не мог от него отвязаться. Он даже сам искал его, когда долго не видал. Чиж научил его отвиливать от дневальства, от кухни — все это уже утеряло прелесть новизны, стало нудной обязанностью.

И с тех пор кипучая жизнь отряда пошла мимо Мечика. Он не видел главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что делается. В таком отчуждении потонули все его мечты о новой, смелой жизни, хотя он научился огрызаться, не бояться людей, загорел и опустился в одежде, внешне сравнявшись со всеми.

X. Начало разгрома

Морозка, повстречав Мечика, к удивлению своему, не ощутил ни прежней злобы, ни ненависти. Осталось только недоумение, зачем снова попадается на пути этот вредный человек, и подсознательное убеждение, что он, Морозка, должен на него сердиться. Все же встреча так подействовала на него, что захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь.

— Иду сейчас проулком,— сказал он Дубову,— только из-за угла выскочил, а прямо на меня — парень шалдыбинский, что привез я, помнишь?

— Ну?..

— Да ничего... «Где, говорит, к штабу тут пройти?..» — «А вон, говорю, второй дом направо...»

— И что же? — допытывался Дубов, не находя во всем этом ничего удивительного и думая, что оно еще будет.

— Ну, встретил,— и все!.. Что же еще? — ответил Морозка с непонятным раздражением.

Ему стало вдруг скучно и расхотелось говорить с людьми. Вместо того чтобы идти на вечерку, как собирался, он завалился на сеновал, но уснуть не смог. Неприятные воспоминания навалились на него тяжелой грудой; казалось, Мечик нарочно встал на дороге, стараясь сбить его с какой-то правильной линии.

Весь следующий день он бродил, не находя места, с трудом подавляя желание снова повидать Мечика.

— Ну что мы сидим без дела? — досадливо приставал к взводному.— Сгинешь тут от скуки... О чем там Левинсон думает?..

— О том и думает, как бы это Морозку повеселить. Все штаны продрал, над этим сидючи.

Дубов и не подозревал о сложных Морозкиных переживаниях. А Морозка, не получая поддержки, исходил зловещей тоской и знал, что скоро запьет, если не удастся рассеяться на горячем деле. Первый раз в жизни он сам боролся со своими желаниями, но силы его были слабы. Только случайное обстоятельство уберегло его от падения.

Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Отрывочные сведения, которые удавалось иногда собрать, рисовали жестокую кар-

тину развала. Тревожный улахинский ветер нес дымные запахи крови.

По вкрадчивым таежным тропам, где много лет уж не ступала человеческая нога, Левинсон связался с железной дорогой. Ему сообщили, что вскоре должен пройти эшелон с оружием и обмундированием. Железнодорожники обещали точно указать день и час. Зная, что рано или поздно отряд все равно откроют, а зимовать в тайге без патронов и теплой одежды невозможно, Левинсон решил сделать первую вылазку. Гончаренко спешно начинил фугасы. Туманной ночью, пробравшись незамеченным сквозь неприятельское пекло, взвод Дубова внезапно появился на линии.

...Товарные вагоны, прицепленные к почтовому поезду, Гончаренко оторвал, не задев пассажирских. В грохоте взрыва, в динамитной гари взметнулись над головой лопнувшие рельсы и, вздрагивая, рухнули под откос. Берданный затвор от фугаса, зацепившись шнурком, повис на телеграфном проводе, заставив впоследствии многих ломать голову над тем, кто и зачем его повесил.

Пока рыскали вокруг кавалерийские разъезды, Дубов с навьюченными до отказа лошадьми выжидал на Свиягинской лесной даче, а ночью увильнул в «щеки»[1]. Через несколько суток был в Шибиши, не потеряв ни одного человека.

— Ну, Бакланыч, теперь держись...— сказал Левинсон, и в зыбком его взгляде нельзя было прочесть, шутит ли он или всерьез. В тот же день он раздробил хозяйственную часть, раздав по рукам шинели, патроны, шашки, сухари, оставив, сколько могут поднять заводные лошади.

Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята неприятелем. К устью Ирохедзы стягивались новые силы, японская разведка шарила по всем направлениям и не раз натыкалась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы двинулись кверху. Шли медленно, с большими остановками, от хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флангам частые охранения. В железном упорстве их движения, несмотря на его медлительность, чувствовалась уверенная в себе, разумная и в то же время слепая сила.

---

[1] Щеки — ущелье. (*Прим. А. Фадеева.*)

Разведчики Левинсона возвращались с дикими глазами, а сведения их противоречили одно другому.

— Как же так? — холодно переспрашивал Левинсон.— Вчера, говоришь, они были в Соломенной, а сегодня утром в Монакине,— что же они, назад идут?..

— Н-не знаю,— заикался разведчик.— Может, то передовые были в Соломенной...

— А откуда ты знаешь, что в Монакине главные, а не передовые?

— Мужики сказывали...

— Дались тебе мужики!.. Как тебе было приказано?

Разведчик тут же сочинял замысловатую историю, почему не удалось проникнуть вглубь. На самом деле, напуганный бабьими россказнями, он не доехал до неприятеля верст десять, просидел в кустах, раскуривая табачок и дожидаясь, когда удобнее будет вернуться. «Ты бы сам сунулся»,— думал он про Левинсона, глядя на него затаенно-мигающим мужицким взглядом.

— Придется тебе самому съездить,— сказал Левинсон Бакланову.— Иначе нас тут, как мух, прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-нибудь с собой и поезжай чуть свет.

— А кого взять? — спросил Бакланов. Он старался быть серьезным и озабоченным, хотя все внутри билось в тревожной боевой радости: как и Левинсон, он считал нужным прятать истинные свои чувства.

— Возьми кого хочешь... хотя бы новенького, что у Кубрака,— Мечика, что ли? Кстати проверишь, что он за парень. А то говорят про него нехорошее, может, и зря...

Разведка подвернулась Мечику как нельзя кстати. За короткое пребывание в отряде он скопил такое количество невыполненных дел, несдержанных обещаний и неосуществленных хотений, что каждое из них в отдельности, даже выполненное, потеряло бы уже всякий смысл и значение. Но вместе они давили все тяжелей, и глуше, и больнее, не давая вырваться из своего до нелепости узкого круга. Теперь ему казалось, что он сможет разорвать этот бессмысленный круг одним смелым движением.

Они выехали еще до рассвета. Чуть розовели на отроге таежные маковки, в деревне под горой кричали вторые петухи. Было холодно, темно и немножко жутко.

Необычность обстановки, предвкушение опасности, надежда на удачу порождали в обоих то приподнято-боевое настроение, при котором все остальное неважно. В теле — легкая зыбь крови, пружинят мускулы, а воздух кажется холодным и жгучим, даже хрустит.

— Эк у тебя кобыла опаршивела,— говорит Бакланов.— Не ухаживаешь, что ли? Плохо... Это Кубрак, дурило, не показал, видно, что с ней делать? — Бакланов никогда бы не подумал, что у человека, умеющего обращаться с лошадью, хватит совести довести ее до такого состояния.— Не показал, да?

— Да как сказать...— смутился Мечик.— Он вообще мало помогает. Не знаешь, к кому обратиться.

Стыдясь своей лжи, он ерзал на седле и не смотрел на Бакланова.

— А ты у каждого спрашивай. У нас там много понимающих. Ребята есть боевые...

Вопреки мнению Чижа, которое Мечик тоже почти усвоил, Бакланов начинал ему нравиться. Он был такой плотный и круглый, сидел на седле как пришитый. Глаза у него были коричневые и сметливые, он все схватывал на лету, тут же отделяя достойное внимания от пустяков, затем следовали практические выводы.

— Э-э, парень, а я все смотрю, чего у тебя седло ездит! Заднюю подпругу ты до отказа натянул, а передняя висит. Наоборот надо. Давай перетянем.

Мечик не успел еще сообразить, в чем дело, а уж Бакланов, спешившись, возился у седла.

— Ну-у... да у тебя и потник завернулся... Слезай, слезай — лошадь загубишь. Насквозь переседлаем.

После нескольких верст Мечик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо лучше и умней его, что Бакланов, кроме того, очень смелый и сильный человек и что он, Мечик, должен всегда безропотно ему подчиняться. Бакланов же, подходивший к Мечику без всякой предвзятости, хотя и почувствовал вскоре свое превосходство, но разговаривал с ним как с равным, стараясь простым наблюдением определить действительную его цену.

— В сопки тебя кто направил?

— Да я, собственно, сам пошел, а путевку мне максималисты дали...

Помня странное поведение Сташинского, Мечик ста-

рался как-нибудь смазать значение пославшей его организации.

— Максималисты?.. Зря ты с ними путаешься — трепачи...

— Да мне ведь все равно... Просто там есть несколько моих товарищей по гимназии, вот я...

— Гимназию-то кончил? — перебил Бакланов.

— Что? Да, кончил...

— Это хорошо. Я тоже учился в ремесленном. На токаря. Не пришлось кончить. Поздно, видишь, начал,— пояснил он, точно оправдываясь.— До того я на судостроительном работал, пока братишка не подрос, а тут вот вся эта каша...

Немного погодя он снова задумчиво протянул:

— Да-а... Гимназия... Я тоже мальцом хотел, да уж такое дело...

Видно, слова Мечика навеяли на него много ненужных воспоминаний. Мечик с неожиданной страстностью стал доказывать, что вовсе не плохо, а даже хорошо, что Бакланов не учился в гимназии. Незаметно для себя он убеждал Бакланова в том, какой тот хороший и умный, несмотря на свою необразованность. Бакланов, однако, не видел большого достоинства в своей неучености, а более сложных рассуждений Мечика не понял вовсе. Задушевного разговора не получалось. Оба прибавили рыси и долго ехали молча.

Всю дорогу попадались разведчики и врали попрежнему. Бакланов только головой крутил. На хуторе, в трех верстах от деревушки Соломенной, они оставили лошадей и пошли пешком. Солнце давно уже перевалило к западу, усталые поля пестрели бабьими платками, от жирных суслонов ложились тени, спокойно-густые и мягкие. У встречной подводы Бакланов спросил, были ли в Соломенной японцы.

— С утра, говорят, человек пять приезжало, а сегодня штой-то не слыхать... Хоть бы хлеба убрать, ну их к лешему...

Сердце у Мечика забилось, но страха он не чувствовал.

— Значит, они и впрямь в Монакине,— сказал Бакланов.— Это разведка приезжала. Крой смело...

Они вошли в село, встреченные ленивым собачьим лаем. На постоялом дворе — с пучком сена, привязан-

ным к шесту, и подводой у ворот — напились молока «по-баклановски»: из мисочки и с хлебцем. Впоследствии, с жутью вспоминая весь этот поход, Мечик неизменно видел перед собой Бакланова, как он вышел на улицу с расплывшимся счастливым лицом и остатками молока на верхней губе. Они не сделали и нескольких шагов, как из переулка, подобрав юбки, выбежала толстая баба и, столкнувшись с ними, остановилась в столбняке. Глаза ее полезли под платок, а ртом она хватала воздух, как пойманная рыба. И вдруг завопила самым пронзительным и тонким голосом:

— А родненькие ж вы мои, а куда ж вы идетя?.. Агромяту-ущая сила гапонцив биля школы!.. Сюда идуть, а текайте ж, сюда идуть!..

Мечик не успел еще восчувствовать ее слова, как из того же переулка, маршируя в ногу, вышли четыре японских солдата с ружьями на плечах. Бакланов, вскрикнув, стремительно выхватил кольт и выстрелил — почти в упор — в двоих. Мечик видел, как сзади у них вылетели кровавые клочки и оба они рухнули на землю. Третий патрон попал в перекос, и кольт перестал действовать. Один из оставшихся японцев бросился бежать, а другой сорвал винтовку, но в то же время Мечик, повинуясь новой силе, которая управляла им больше, чем страх, выстрелил в него несколько раз подряд. Последние пули попали в японца, когда уже он лежал, корчась в пыли.

— Бежим!..— крикнул Бакланов.— К подводе!..

Через несколько минут, отвязав лошадь, бившуюся у постояла, они мчались по улице, вздымая жаркие клубы пыли. Бакланов стоял на телеге, изо всех сил хлестал концами вожжей, то и дело оглядываясь назад,— нет ли погони. Где-то в центре не менее пяти горнистов играли тревогу.

— Здесь они... все-е! — кричал Бакланов с каким-то торжественным озлоблением.— Все-е... Главные!.. Слышишь, играют?..

Мечик ничего не слышал. Припав на дно, он чувствовал дикую радость избавления и то, как в горячей пыли корчится убитый им японец, исходя последними смертными муками. И когда он посмотрел на Бакланова, перекошенное лицо последнего показалось ему противным и страшным.

Через некоторое время Бакланов уже смеялся:

— Ловко получилось! Да? Они в село, и мы — разом. А ты, брат, молодец! Даже не ожидал от тебя, право. Если бы не ты, он бы нас вот как изрешетил!..

Мечик, стараясь не смотреть на него, лежал подвернув голову, весь желтый и бледный, в темных пятнах, как хлебный колос, сгнивающий на корню.

Отъехав версты две и не слыша погони, Бакланов остановил лошадь возле одинокого ильмака, согнувшегося над дорогой.

— Ты здесь оставайся, а я влезу на дерево, будем караулить...

— Зачем?..— сказал Мечик прерывающимся голосом.— Поедем скорей. Надо сообщить... ясно, что тут главные...— Он заставлял себя верить в то, что говорит, и не мог. Теперь ему страшно было оставаться вблизи неприятеля.

— Нет, уж лучше обождем. Не затем киселя хлебали, чтоб трех этих дураков пришить. Разнюхаем точно.

Через полчаса из Соломенной выехали шагом человек двадцать конных. «А что, ежели заметят? — подумал Бакланов с тайной дрожью.— Не уйти нам на подводе». Превозмогая себя, он решил ждать до последней крайности. Конница, не видная Мечику за холмом, проехала уже с полдороги, когда со своего наблюдательного пункта Бакланов заметил пехоту: она только выходила из села густыми колоннами, пыльно отсвечивая оружием... В стремительном гоне до хутора они едва не загнали лошадь, там пересели на своих и через несколько минут мчались уже по дороге в Шибиши. Предусмотрительный Левинсон еще до их приезда (приехали они ночью) выставил усиленное охранение — спешенный взвод Кубрака. Треть взвода осталась с лошадьми, а остальные дежурили возле села, за валом старой монгольской крепостцы. Мечик, передав кобылу Бакланову, остался со взводом.

Несмотря на сильное переутомление, спать не хотелось. Туман стлался от реки, было холодно. Пика ворочался и стонал во сне, под ногами часовых загадочно шуршали травы. Мечик лежал на спине, глазами нащупывая звезды; они едва проступали из черной пустоты, которая чудилась там, за туманной завесой; и эту же

пустоту, еще мрачней и глуше, потому что без звезд, Мечик ощущал в себе. Он подумал, что такую же пустоту должен все время ощущать Фролов, и ему стало жутко от внезапной мысли, что судьба этого человека может быть похожа на его. Он старался отогнать от себя эту страшную мысль, но образ Фролова не шел из головы. Он видел его лежащим на койке, с безжизненно опущенными руками и высохшим лицом, и клены тихо шумели над ним. «Да ведь он умер!..» — с ужасом подумал Мечик. Но Фролов пошевелил пальцем и, повернувшись к нему, сказал с костлявой улыбкой: «Ребята... шкодят...» Вдруг он задергался на постели, из него полетели какие-то клочки, и Мечик увидел, что это совсем не Фролов, а японец. «Это ужасно...» — снова подумал он, вздрагивая всем телом, но Варя склонилась над ним и сказала: «А ты не бойся». Она была холодной и мягкой. Мечику сразу стало легче. «Ты не сердись, что я с тобой плохо простился,— сказал он ласково.— Я люблю тебя». Она прижалась к нему, и сразу все пропало, ухнуло куда-то, а через несколько мгновений он уже сидел на земле, мигая глазами, нащупывая рукой винтовку, и было совсем светло. Вокруг суетились люди, свертывая шинели; Кубрак, просунувшись в кусты, смотрел в бинокль, все лезли к нему и спрашивали:

— Где?.. Где?..

Мечик, нащупав наконец винтовку, вылез на гребень и понял, что речь идет о неприятеле, но, не видя его, тоже стал спрашивать:

— Где?..

— Чего сгрудились? — зашипел вдруг взводный и сильно толкнул кого-то.— Раскладывайся цепью!..

Пока расползались по валу, Мечик, вытягивая шею, все еще старался увидеть неприятеля.

— Да где он?..— несколько раз спросил у соседа. Тот, лежа на животе и не слушая его, все время хватался почему-то за ухо, и нижняя губа у него отвисла. Вдруг он повернулся и свирепо выругался. Мечик не успел огрызнуться — послышалась команда:

— Взво-од...

Он высунул винтовку и, по-прежнему ничего не видя и сердясь на то, что все видят, а он нет,— выстрелил наугад при слове «пли». (Он не знал, что добрая

половина взвода тоже ничего не видит, но скрывает это во избежание насмешек в будущем.)

— Пли!..— снова скомандовал Кубрак, и снова Мечик выстрелил.

— Ага-а, текают!..— закричали кругом; все вдруг заговорили громко и бестолково, лица стали веселыми и возбужденными.

— Будя, будя!.. — кричал взводный.— Кто там стреляет? Патронов не жалко!..

Из расспросов Мечик узнал, что подъезжала японская разведка. Многие из тех, кто тоже ее не видел, смеялись над Мечиком и хвастали, как слетали с седел японцы, в которых они целились. В это время ударил гулкий орудийный выстрел, заполнив долину ответным эхом. Несколько человек в страхе попадали на землю; Мечик тоже съежился, как ушибленный: это был первый орудийный выстрел, который он слышал в своей жизни. Снаряд разорвался где-то за деревней. Потом в безумной одышке залаяли пулеметы, посыпались частые ружейные выстрелы, но партизаны не отвечали.

Через минуту, а может быть, через час,— время до боли скрадывалось,— Мечик почувствовал, что партизан стало больше, и увидел Бакланова и Метелицу,— они спускались с вала. Бакланов нес бинокль, у Метелицы дергалась щека и сильно раздувались ноздри.

— Лежишь? — спросил Бакланов, распуская складки на лбу.— Ну как?

Мечик мучительно улыбнулся и, сделав невероятное напряжение над собой, спросил:

— А где наши лошади?..

— Лошади наши в тайге, скоро и мы там будем, только бы задержать немножко... Нам-то ничего,— добавил он, видно, желая подбодрить Мечика,— а вот Дубова взвод на равнине... А, черт!..— выругался вдруг, вздрогнув от близкого взрыва.— Левинсон тоже там...— И побежал куда-то вдоль цепи, держась за бинокль обеими руками.

Следующий раз, когда пришлось стрелять, Мечик уже видел японцев: они наступали несколькими цепями, перебегая меж кустов, и были так близко, что Мечику казалось, что от них невозможно теперь убежать, даже если придется. То, что он испытывал, было не страх, а мучительное ожидание: когда же все кончит-

ся? В одно из таких мгновений неизвестно откуда вынырнул Кубрак и закричал:

— Куда ты палишь?..

Мечик оглянулся и понял, что слова взводного относятся не к нему, а к Пике, которого он до сих пор почему-то не видел. Пика лежал ниже, уткнувшись лицом в землю, и как-то нелепо, над головой, перебирая затвором, стрелял в дерево перед собой. Он продолжал это занятие и после того, как Кубрак окликнул его, с той лишь разницей, что обойма уже кончилась и затвор щелкал впустую. Взводный несколько раз ударил его сапогом, и все же Пика не поднял головы.

Потом все бежали куда-то, сначала в беспорядке, затем реденьким гуськом. Мечик тоже бежал со всеми, не понимая, что к чему, но чувствовал даже в минуты самого отчаянного смятения, что все это не так уж случайно и бессмысленно и что целый ряд людей, не испытывающих, может, того, что испытывает он сам, направляет его и окружающих действия. Людей этих он не замечал, но чувствовал в себе их волю и, когда очнулся в селе,— теперь они шли шагом, длинной цепочкой,— невольно стал отыскивать глазами, кто же всетаки распоряжается его судьбой. Впереди шел Левинсон, он выглядел таким маленьким и так потешно размахивал огромным маузером, что трудно было поверить, будто он и является главной направляющей силой. Пока Мечик силился разрешить это противоречие, снова густо и злобно посыпались пули; казалось, они задевают волосы, даже пушок на ушах. Цепочка ринулась вперед, несколько человек упало. Мечик почувствовал, что, если вновь придется отстреливаться, он уже ничем не будет отличаться от Пики.

Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигура Морозки на оскаленном жеребце с развевающейся огненной гривой, промчавшаяся так быстро, что трудно было отличить, где кончался Морозка и начиналась лошадь. Впоследствии он узнал, что Морозка был в числе конных, выделенных для связи со взводами во время боя.

Окончательно Мечик пришел в себя только в тайге, на горной тропинке, развороченной недавно прошедшими лошадьми. Здесь было темно и тихо, и строгий кедрач прикрывал их покойными, обомшелыми лапами.

XI. Страда

Укрывшись после боя в глухом, заросшем хвощом и папоротником овраге, Левинсон осматривал лошадей и наткнулся на Зючиху.

— Это что такое?

— А что? — пробормотал Мечик.

— А ну, расседлай, покажи спину...

Мечик дрожащими пальцами распустил подпругу.

— Ну да, конечно... Сбита спина,— сказал Левинсон таким тоном, словно и не ожидал ничего хорошего.— Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать — дядя?..

Левинсон старался не повышать голоса, но это давалось ему с трудом,— он сильно устал, борода его вздрагивала, и он нервно комкал руками сорванную где-то веточку.

— Взводный! Иди сюда... Ты чем смотришь?..

Взводный, не мигая, уставился в седло, которое Мечик держал почему-то в руках. Сказал мрачно и медленно:

— Ему, дураку, сколько раз говорено...

— Я так и знал! — Левинсон выбросил веточку. Взгляд его, направленный на Мечика, был холоден и строг.— Пойдешь к начхозу и будешь ездить с вьючными лошадьми, пока не вылечишь...

— Слушайте, товарищ Левинсон...— забормотал Мечик голосом, дрожащим от унижения, которое он испытывал не оттого, что скверно ухаживал за лошадью, а оттого, что как-то нелепо и унизительно держал в руках тяжелое седло.— Я не виноват... Выслушайте меня... постойте... Теперь вы можете мне поверить... Я буду хорошо с ней обращаться.

Но Левинсон, не оглядываясь, прошел к следующей лошади.

Вскоре недостаток продовольствия заставил их выйти в соседнюю долину. В течение нескольких дней отряд метался по улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше, каждая крошка хлеба, овса добывалась с боем; вновь и вновь растравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливей, злей.

Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми не только чувство самосохранения, но и другой, не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, не осознанный даже большинством из них, по которому все, что приходится им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной целью и без которого никто из них не пошел бы добровольно умирать в улахинской тайге. Но он знал также, что этот глубокий инстинкт живет в людях под спудом бесконечно маленьких, каждодневных, насущных потребностей и забот о своей — такой же маленькой, но живой — личности, потому что каждый человек хочет есть и спать, потому что каждый человек слаб. Обремененные повседневной мелочной суетой, чувствуя свою слабость, люди как бы передоверили самую важную свою заботу более сильным, вроде Левинсона, Бакланова, Дубова, обязав их думать о ней больше, чем о том, что им тоже нужно есть и спать, поручив им напоминать об этом остальным.

Левинсон теперь всегда был на людях — водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. Даже когда разговаривал с людьми о самых обыденных вещах, в каждом его слове слышалось: «Смотрите, я тоже страдаю вместе с вами — меня тоже могут завтра убить или я сдохну с голоду, но я по-прежнему бодр и настойчив, потому что все это не так уж важно...»

И все же... с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром... И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее было ему убеждать,— он превращался в силу, стоящую над отрядом.

Обычно, когда глушили рыбу на обед, никто не хотел лазить за нею в холодную воду, гоняли наиболее слабых, чаще всего бывшего свинопаса Лаврушку — человека безвестной фамилии, робкого и заикающегося. Он отчаянно боялся воды, дрожа и крестясь, сползал с берега, и Мечик всегда с болью смотрел на его тощую спину. Однажды Левинсон заметил это.

— Обожди...— сказал он Лаврушке.— Почему ты сам не слазишь? — спросил у кривого, словно ущемлен-

ного с одной стороны дверью парня, загонявшего Лаврушку пинками.

Тот поднял на него злые, в белых ресницах, глаза и неожиданно сказал:

— Слазь сам, попробуй...

— Я-то не полезу,— спокойно ответил Левинсон,— у меня и других дел много, а вот тебе придется... Снимай, снимай штаны... Вот уж и рыба уплывает.

— Пущай уплывает... я тоже не рыжий...— Парень повернулся спиной и медленно пошел от берега. Несколько десятков глаз смотрели одобрительно на него и насмешливо на Левинсона.

— Ну и морока с таким народом...— начал было Гончаренко, сам расстегивая рубаху, и остановился, вздрогнув от непривычно громкого оклика командира:

— Вернись!..— В голосе Левинсона брякнули властные нотки неожиданной силы.

Парень остановился и, жалея уже, что ввязался в историю, но не желая срамиться перед другими, сказал снова:

— Сказано, не полезу...

Левинсон тяжелыми шагами двинулся к нему, держась за маузер, не спуская с него глаз, ушедших вовнутрь и ставших необыкновенно колючими и маленькими. Парень медленно, будто нехотя, стал расстегивать штаны.

— Живей! — сказал Левинсон с мрачной угрозой.

Парень покосился на него и вдруг перепугался, заторопился, застрял в штанине и, боясь, что Левинсон не учтет этой случайности и убьет его, забормотал скороговоркой:

— Сейчас, сейчас... зацепилась вот... а, черт!.. Сейчас, сейчас...

Когда Левинсон оглянулся вокруг, все смотрели на него с уважением и страхом, но и только: сочувствия не было. В эту минуту он сам почувствовал себя силой, стоящей над отрядом. Но он готов был идти и на это: он был убежден, что сила его правильная.

С этого дня Левинсон не считался уже ни с чем, если нужно было раздобыть продовольствие, выкроить лишний день отдыха. Он угонял коров, обирал крестьянские огороды, но даже Морозка видел, что это совсем не похоже на кражу дынь с Рябцева баштана.

После многоверстного перехода через Удегинский отрог, во время которого отряд питался только виноградом и попаренными над огнем грибами, Левинсон вышел в Тигровую падь, к одинокой корейской фанзушке в двадцати верстах от устья Ирохедзы. Их встретил огромный, волосатый, как его унты, человек без шапки, с ржавым смитом у пояса. Левинсон признал даубихинского спиртоноса Стыркшу.

— Ага, Левинсон!..— приветствовал Стыркша хриплым от неизлечимой простуды голосом. Из буйной поросли с обычной горькой усмешкой выглядывали его глаза.— Жив еще? Хорошее дело... А тут тебя ищут.

— Кто ищет?

— Японцы, колчаки... кому ты еще нужен?

— Авось не найдут... Жрать тут будет нам?

— Может, и найдут,— загадочно сказал Стыркша.— Они тоже не дураки — голова-то твоя в цене... На сходах, вон, приказ читают: за поимку живого или мертвого — награда.

— Ого!.. и дорого дают?..

— Пятьсот рублей сибирками.

— Дешевка! — усмехнулся Левинсон.— Пожрать-то, я говорю, будет нам?

— Черта с два... кореец сам на одной чумизе. Свинья тут у них пудов на десять, так они на нее молятся — мясо на всю зиму.

Левинсон пошел отыскивать хозяина. Трясущийся, седоватый кореец, в продавленной проволочной шляпе, с первых же слов взмолился, чтобы не трогали его свинью. Левинсон, чувствуя за собой полтораста голодных ртов и жалея корейца, пытался доказать ему, что иначе поступить не может. Кореец, не понимая, продолжал умоляюще складывать руки и повторял:

— Не надо куши-куши... Не надо...

— Стреляйте, все равно,— махнул Левинсон и сморщился, словно стрелять должны были в него.

Кореец тоже сморщился и заплакал.

Вдруг он упал на колени и, ерзая в траве бородой, стал целовать Левинсону ноги, но тот даже не поднял его — он боялся, что, сделав это, не выдержит и отменит свое приказание.

Мечик видел все это, и сердце его сжималось. Он убежал за фанзу и уткнулся лицом в солому, но даже здесь

стояло перед ним заплаканное старческое лицо, маленькая фигурка в белом, скорчившаяся у ног Левинсона. «Неужели без этого нельзя?» — лихорадочно думал Мечик, и перед ним длинной вереницей проплывали покорные и словно падающие лица мужиков, у которых тоже отбирали последнее. «Нет, нет, это жестоко, это слишком жестоко»,— снова думал он и глубже зарывался в солому.

Мечик знал, что сам никогда не поступил бы так с корейцем, но свинью он ел вместе со всеми, потому что был голоден.

Ранним утром Левинсона отрезали от гор, и после двухчасового боя, потеряв до тридцати человек, он прорвался в долину Ирохедзы. Колчаковская конница преследовала его по пятам, он побросал всех вьючных лошадей и только в полдень попал на знакомую тропу, к госпиталю.

Тут он почувствовал, что едва сидит на лошади. Сердце после невероятного напряжения билось медленно-медленно, казалось — оно вот-вот остановится. Ему захотелось спать, он опустил голову и сразу поплыл на седле — все стало простым и неважным. Вдруг он вздрогнул от какого-то толчка изнутри и оглянулся... Никто не заметил, как он спал. Все видели перед собой его привычную, чуть согнутую спину. А разве мог подумать кто-либо, что он устал, как все, и хочет спать?.. «Да... хватит ли сил у меня?» — подумал Левинсон, и вышло это так, словно спрашивал не он, а кто-то другой. Левинсон тряхнул головой и почувствовал мелкую противную дрожь в коленях.

— Ну вот... скоро и жинку свою увидишь,— сказал Морозке Дубов, когда они подъезжали к госпиталю.

Морозка промолчал. Он считал, что дело это кончено, хотя ему все дни хотелось повидать Варю. Обманывая себя, он принимал свое желание за естественное любопытство постороннего наблюдателя: «Как это у них получится».

Но когда он увидел ее,— Варя, Сташинский и Харченко стояли возле барака, смеясь и протягивая руки,— все в нем перевернулось. Не задерживаясь, он вместе со взводом проехал под клены и долго возился подле жеребца, ослабляя подпруги.

Варя, отыскивая Мечика, бегло отвечала на приветствия, улыбалась всем смущенно и рассеянно. Мечик встретился с ней глазами, кивнул и, покраснев, опустил голову: он боялся, что она сразу подбежит к нему и все догадаются, что тут что-то неладно. Но она из внутреннего такта не подала виду, что рада ему.

Он наскоро привязал Зючиху и улизнул в чащу. Пройдя несколько шагов, наткнулся на Пику. Тот лежал возле своей лошади; взгляд его, сосредоточенный в себе, был влажен и пуст.

— Садись...— сказал устало.

Мечик опустился рядом.

— Куда мы пойдем теперь?..

Мечик не ответил.

— Я бы сичас рыбу ловил...— задумчиво сказал Пика.— На пасеке... Рыба сичас книзу идет... Устроил бы водопад и ловил... Только подбирай.— Он помолчал и добавил грустно: — Да ведь нет пасеки-то... нет! А то б хорошо было... Тихо там, и пчела теперь тихая...

Вдруг он приподнялся на локте и, коснувшись Мечика, заговорил дрожащим, в тоске и боли, голосом:

— Слухай, Павлуша... слухай, мальчик ты мой, Павлуша!.. Ну разве ж нет такого места, нет, а? Ну как же жить будем, как жить-то будем, мальчик ты мой, Павлуша?.. Ведь никого у меня... сам я... один... старик... помирать скоро...— Не находя слов, он беспомощно глотал воздух и судорожно цеплялся за траву свободной рукой.

Мечик не смотрел на него, даже не слушал, но с каждым его словом что-то тихо вздрагивало в нем, словно чьи-то робкие пальцы обрывали в душе с еще живого стебля уже завядшие листья. «Все это кончилось и никогда не вернется...» — думал Мечик, и ему жаль было своих завядших листьев.

— Спать пойду...— сказал он Пике, чтобы как-нибудь отвязаться.— Устал я...

Он зашел глубже в чащу, лег под кусты и забылся в тревожной дремоте... Проснулся внезапно, будто от толчка. Сердце неровно билось, потная рубаха прилипла к телу. За кустом разговаривали двое: Мечик узнал Сташинского и Левинсона. Он осторожно раздвинул ветки и выглянул.

— ...Все равно,— сумрачно говорил Левинсон,— дольше держаться в этом районе немыслимо. Единственный путь — на север, в Тудо-Вакскую долину...— Он расстегнул сумку и вынул карту.— Вот... Здесь можно пройти хребтами, а спустимся по Хаунихедзе. Далеко, но что ж поделаешь...

Сташинский глядел не в карту, а куда-то в таежную глубь, точно взвешивая каждую, облитую человеческим потом версту. Вдруг он быстро замигал глазом и посмотрел на Левинсона.

— А Фролов?.. ты опять забываешь...

— Да — Фролов...— Левинсон тяжело опустился на траву. Мечик прямо перед собой увидел его бледный профиль.

— Конечно, я могу остаться с ним...— глухо сказал Сташинский после некоторой паузы.— В сущности, это моя обязанность...

— Ерунда! — Левинсон махнул рукой.— Не позже как завтра к обеду сюда придут японцы по свежим следам... Или твоя обязанность быть убитым?

— А что ж тогда делать?

— Не знаю...

Мечик никогда не видел на лице Левинсона такого беспомощного выражения.

— Кажется, остается единственное... я уже думал об этом...— Левинсон запнулся и смолк, сурово стиснув челюсти.

— Да?..— выжидательно спросил Сташинский.

Мечик, почувствовав недоброе, сильней подался вперед, едва не выдав своего присутствия.

Левинсон хотел было назвать одним словом то единственное, что оставалось им, но, видно, слово это было настолько трудным, что он не смог его выговорить. Сташинский взглянул на него с опаской и удивлением и... понял.

Не глядя друг на друга, дрожа и запинаясь и мучась этим, они заговорили о том, что уже было понятно обоим, но чего они не решались назвать одним словом, хотя оно могло бы сразу все выразить и прекратить их мучения.

«Они хотят убить его...» — сообразил Мечик и побледнел. Сердце забилось в нем с такой силой, что казалось, за кустом тоже вот-вот его услышат.

— А как он — плох? Очень?..— несколько раз спросил Левинсон.— Если бы не это... Ну... если бы не мы его... одним словом, есть у него хоть какие-нибудь надежды на выздоровление?

— Надежд никаких... да разве в этом суть?

— Все-таки легче как-то,— сознался Левинсон. Он тут же устыдился, что обманывает себя, но ему действительно стало легче. Немного помолчав, он сказал тихо: — Придется сделать это сегодня же... только смотри, чтобы никто не догадался, а главное, он сам... можно так?..

— Он-то не догадается... скоро ему бром давать, вот вместо брома... А может, мы до завтра отложим?..

— Чего ж тянуть... все равно...— Левинсон спрятал карту и встал.— Надо ведь — ничего не поделаешь... Ведь надо?..— Он невольно искал поддержки у человека, которого сам хотел поддержать.

«Да, надо...» — подумал Сташинский, но не сказал.

— Слушай,— медленно начал Левинсон,— да ты скажи прямо, готов ли ты? Лучше прямо скажи...

— Готов ли я? — сказал Сташинский.— Да, готов.

— Пойдем...— Левинсон тронул его за рукав, и оба медленно пошли к бараку.

«Неужели они сделают это?..» — Мечик ничком упал на землю и уткнулся лицом в ладони. Он пролежал так неизвестно сколько времени. Потом поднялся и, цепляясь за кусты, пошатываясь, как раненый, побрел вслед за Сташинским и Левинсоном.

Остывшие, расседланные лошади поворачивали к нему усталые головы; партизаны храпели на прогалине, некоторые варили обед. Мечик поискал Сташинского и, не найдя его, почти побежал к бараку.

Он поспел вовремя. Сташинский, стоя спиной к Фролову, протянув на свет дрожащие руки, наливал что-то в мензурку.

— Обождите!.. Что вы делаете?..— крикнул Мечик, бросаясь к нему с расширенными от ужаса глазами.— Обождите! Я все слышал!..

Сташинский, вздрогнув, повернул голову, руки его задрожали еще сильнее... Вдруг он шагнул к Мечику, и страшная багровая жила вздулась у него на лбу.

— Вон!..— сказал он зловещим, придушенным шепотом.— Убью!..

Мечик взвизгнул и, не помня себя, выскочил из барака. Сташинский тут же спохватился и обернулся к Фролову.

— Что... что это?..— спросил тот, опасливо косясь на мензурку.

— Это бром, выпей...— настойчиво, строго сказал Сташинский.

Взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью... «Конец...» — подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи. Все оказалось простым и легким, и даже странно было, зачем он так долго мучился, так упорно цеплялся за жизнь и боялся смерти, если жизнь сулила ему новые страдания, а смерть только избавляла от них. Он в нерешительности повел глазами вокруг, словно отыскивая что-то, и остановился на нетронутом обеде, возле, на табуретке. Это был молочный кисель, он уже остыл, и мухи кружились над ним. Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение — жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и, когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким.

— Случится, будешь на Сучане,— сказал он медленно,— передай, чтоб не больно уж там... убивались... Все к этому месту придут... да... Все придут,— повторял он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно такой мыслью, которая лишала личную — *его, Фролова,*— смерть ее особенного, отдельного страшного смысла и делала ее — эту смерть — чем-то обыкновенным, свойственным всем людям. Немного подумав, он сказал: — Сынишка там у меня есть на руднике... Федей звать... Об нем чтоб вспомнили, когда обернется все,— помочь там чем или как... Да давай, что ли!..— оборвал он вдруг сразу отсыревшим и дрогнувшим голосом.

Кривя побелевшие губы, знобясь и страшно мигая одним глазом, Сташинский поднес мензурку. Фролов поддержал ее обеими руками и выпил.

Мечик, спотыкаясь о валежник и падая, бежал по тайге, не разбирая дороги. Он потерял фуражку, волосы его свисали на глаза, противные и липкие, как паутина, в висках стучало, и с каждым ударом крови он повторял какое-то ненужное жалкое слово, цепляясь за него, по-

тому что больше не за что было ухватиться. Вдруг он наткнулся на Варю и отскочил, дико блеснув глазами.

— А я-то ищу тебя...— начала она обрадованно и смолкла, испуганная его безумным видом.

Он схватил ее за руку, заговорил быстро, бессвязно:

— Слушай... они его отравили... Фролова... Ты знаешь?.. Они его...

— Что?.. отравили?.. молчи!..— крикнула она, вдруг поняв все сразу. И, властно притянув его к себе, зажала ему рот горячей влажной ладонью.— Молчи!.. не надо... Идем отсюда.

— Куда?.. Ах, пусти!..— Он рванулся и оттолкнул ее, лязгнув зубами.

Она снова схватила его за рукав и потащила за собой, повторяя настойчиво:

— Не надо... идем отсюда... увидят... Парень тут какой-то... так и вьется... идем скорее!

Мечик вырвался еще раз, едва не ударив ее.

— Куда ты?.. постой!..— крикнула она, бросаясь за ним.

В это время из кустов выскочил Чиж,— она метнулась в сторону и, перепрыгнув через ручей, скрылась в ольховнике.

— Что — не далась? — быстро спросил Чиж, подбегая к Мечику.— А ну, может, мне посчастливится! — Он хлопнул себя по ляжке и кинулся вслед за Варей...

XII. Пути-дороги

Морозка с детства привык к тому, что люди, подобные Мечику, подлинные свои чувства — такие же простые и маленькие, как у Морозки,— прикрывают большими и красивыми словами и этим отделяют себя от тех, кто, как Морозка, не умеют вырядить свои чувства достаточно красиво. Он не сознавал, что дело обстоит именно таким образом, и не мог бы выразить это *своими* словами, но он всегда чувствовал между собой и этими людьми непроходимую стену из натащенных ими неизвестно откуда фальшивых крашеных слов и поступков.

Так, в памятном столкновении между Морозкой и Мечиком последний старался показать, что уступает Мо-

розке из благодарности за спасение своей жизни. Мысль, что он подавляет в себе низменные побуждения ради человека, который даже не стоит этого, наполняла его существо приятной и терпеливой грустью. Однако в глубине души он досадовал и на себя и на Морозку, потому что на самом деле он желал Морозке всяческого зла и только сам не мог причинить его — из трусости и оттого, что испытывать терпеливую грусть много красивей и приятней.

Морозка чувствовал, что именно из-за этой красивости, которой нет в нем, в Морозке, Варя предпочла Мечика, считая, что в Мечике это не только внешняя красивость, а подлинная душевная красота. Вот почему, когда Морозка снова увидал Варю, он невольно попал в прежний безвыходный круг мыслей — о ней, о себе, о Мечике.

Он видел, что Варя все время пропадает где-то («наверно, с Мечиком!»), и долго не мог заснуть, хотя старался уверить себя, что ему все безразлично. При каждом шорохе он осторожно приподнимал голову, всматривался в темноту: не покажутся ли две их совестливо крадущиеся фигуры?

Однажды его разбудила какая-то возня. В костре шипели мокрые валежины, и громадные тени плясали по опушке. Окна в бараке то освещались, то гасли — кто-то чиркал спичкой. Потом из барака вышел Харченко, перекинулся словами с кем-то, невидным в темноте, и пошел меж костров, кого-то разыскивая.

— Кого нужно? — хрипло спросил Морозка. Не расслышав ответа, переспросил: — Что?

— Фролов умер,— глухо сказал Харченко.

Морозка туже натянул шинель и снова заснул.

На рассвете Фролова похоронили, и Морозка в числе других равнодушно закапывал его в могилу.

Когда седлали лошадей, обнаружилось, что исчез Пика. Его маленькая горбоносая лошадка уныло стояла под деревом, всю ночь не расседланная. Вид ее был жалок. «Сбежал, старость, не выдержал»,— подумал Морозка.

— Да ладно, не ищите,— сказал Левинсон, морщась от боли в боку, мучившей его с утра.— Лошадь не забудьте... Нет, нет, не навьючивать!.. Начхоз где? Готово?.. По коням!..— Он сильно вздохнул и, сморщившись

опять, грузно, будто нес в себе что-то большое и тяжелое, отчего сам стал большим и тяжелым, поднялся в седло.

Никто не пожалел о Пике. Только Мечик с болью почувствовал утрату. Хотя в последнее время старик не вызывал в нем ничего, кроме тоски и нудных воспоминаний, все же осталось такое ощущение, точно вместе с Пикой ушла какая-то часть его самого.

Отряд двинулся вверх по крутому, изъеденному козами гребню. Холодное голубовато-серое небо стлалось над ним. Далеко внизу мерещились синие пади, и туда из-под ног катились с шумом тяжелые валуны.

Обнимала их златолистая, сухотравная тайга в осенней ждущей тишине. В желтом ветвистом кружеве линял седобородый изюбр, пели прохладные родники, роса держалась весь день, прозрачная и чистая и тоже желтая от листвы. А зверь ревел с самого утра тревожно, страстно, невыносимо, и чудилось в таежном золотом увядании мощное дыханье какого-то огромного, вечно живого тела.

Первым, кто почуял неладное между Морозкой и Варей, был ординарец Ефимка, посланный незадолго до обеденного отдыха к Кубраку с распоряжением: «Подтянуть хвост, чтобы кто-нибудь не откусил».

Ефимка с трудом проехал по цепи, изодрал штаны о колючий кустарник и поругался с Кубраком: взводный посоветовал ему не беспокоиться о чужом хвосте, а беречь лучше свой «щербатый нос». Между прочим, Ефимка заметил, что Морозка с Варей едут далеко друг от друга и что вчера их тоже не видно было вместе.

На обратном пути он, поравнявшись с Морозкой, спросил:

— Что-то, я смотрю, от жены ты бегаешь, чего вы там не поделили?

Морозка, смущенно и сердито посмотрев на его сухое, желчное лицо, сказал:

— Чего не поделили? Делить нам нечего. Бросил я ее.

— Бро-осил!..— Ефимка несколько минут молча и хмуро глядел куда-то вбок, точно раздумывая, подходит ли теперь это слово, если в прежних отношениях между Морозкой и Варей тоже не было прочной семейной связи.

— Ну что ж — и так бывает,— сказал он наконец,— тоись, я говорю, как кому повезет... Но-о, кобылка!..— Он жестко подхлестнул лошадку, и Морозка, проводив глазами его суконную рубаху, видел, как он докладывал что-то Левинсону, потом поехал рядом с ним.

«Эх, жистянка... ну-ну!» — подумал Морозка с каким-то, из последних сил, отчаянием, и ему стало очень грустно оттого, что сам он будто скован чем-то и не может так же беспечно разъезжать по цепи или разговаривать с соседом. «Хорошо им — едет себе, и никаких,— думал он с завистью.— А с чего им тужить, на самом деле? Хотя б Левинсону?.. Человек во власти, всякий к нему с почетом — что хочу, то и делаю... Можно жить». И, не предполагая, что у Левинсона болит простуженный бок, что Левинсон несет в себе ответственность за смерть Фролова, что голова его оценена и раньше всех может расстаться с телом,— Морозка думал о том, какие все-таки живут на свете здоровые, спокойные и обеспеченные люди и как ему самому решительно не везет в жизни.

Все те запутанные, надоедливые мысли, которые впервые родились в нем, когда он жарким июльским днем возвращался из госпиталя и кудрявые косари любовались его уверенной кавалерийской посадкой, те мысли, которые с особенной силой овладели им, когда он ехал по опустевшему полю после ссоры с Мечиком и одинокая бесприютная ворона сидела на покривившемся стогу,— все эти мысли приобрели теперь небывалую мучительную яркость и остроту. Морозка чувствовал себя обманутым в прежней своей жизни и снова видел вокруг себя только ложь и обман. Он не сомневался больше в том, что вся его жизнь от самых пеленок, вся эта тяжелая бессмысленная гульба и работа, кровь и озорство — это не радость, нет, а беспросветный каторжный труд, которого никто не оценил и не оценит.

Он с неведомой ему — грустной, усталой, почти старческой — злобой думал о том, что ему уже двадцать семь лет и ни одной минуты из прожитого нельзя вернуть, чтобы прожить ее по-иному, а впереди тоже не видно ничего хорошего, и он, может быть, очень скоро погибнет от пули, не нужный никому, как умер Фролов, о котором никто не пожалел. Морозке казалось теперь, что он всю жизнь всеми силами старался попасть на ту,

казавшуюся ему прямой, ясной и правильной дорогу, по которой шли такие люди, как Левинсон, Бакланов, Дубов (и даже Ефимка, казалось, ехал теперь по той же дороге), но кто-то упорно мешал ему в этом. И так как он никогда не мог подумать, что этот враг сидит в нем самом, ему особенно приятно и горько было думать о том, что он страдает из-за подлости людей — таких, как Мечик, в первую голову.

После обеда, когда он поил в ключе жеребца, к нему с таинственным видом подошел тот самый бойкий кудрявый парень, который когда-то украл у него жестяную кружку.

— Что я скажу тебе, а что я тебе скажу...— забормотал он мигающей скороговоркой.— Вот язви ее в копыта, в копыта, право слово, Варьку-то, Варьку... У меня, брат, ню-ух по этой части!..

— Что?.. По какой части? — грубо спросил Морозка, подняв голову.

— Насчет баб, очень я баб понимаю,— пояснил парень, немного смутившись.— Хоть и нет еще ничего, нет ничего, да меня, брат, не проведешь — нет, брат, не проведешь... Глазами она за им так и шныряет, так и шныряет.

— А он что? — возбужденно краснея, спросил Морозка, поняв, что речь идет о Мечике, и забыв, что он должен делать вид, что будто ничего не знает.

— А что ж он? Он ничего...— сказал парень какимто неискренним, оглядывающимся голосом, точно все, о чем он говорил, неважно было по существу, а понадобилось ему только для того, чтобы загладить перед Морозкой старые свои грехи.

— Ну и хрен с ними? Мое какое дело? — Морозка фыркнул.— Может, и ты с ней спал — я почем знаю,— добавил он с презрением и обидой.

— Вот тебе!.. Да я ведь...

— Пошел, пошел к федькиной матери!..— внезапно раздражаясь, закричал Морозка.— На кой ты загнулся с нюхом своим. Пошел, н-ну!..— И он вдруг с силой ударил парня ногой по заду.

Мишка, испуганный его резким движением, рванулся в сторону и, попав подогнутыми задними ногами в воду, так и застыл, наставив на людей уши.

— Ах ты, с-су...— выдохнул парень с изумлением и гневом и, не договорив, кинулся на Морозку.

Они сцепились, как барсуки. Мишка, круто повернув, потрусил от них мелкой рысцой.

— Я тебе, драному в стос, покажу с нюхом с твоим!.. Я тебе...— рычал Морозка, сбоку суя кулаком и злясь, что парень не отпускает его, поэтому нельзя хорошо размахнуться.

— Ну, ребятишки! — сказал над ними чей-то удивленный голос.— Вон они что делают...

Две больших узловатых руки спокойно вклинились между ними и, схватив обоих за воротники, растащили в разные стороны. Оба, не поняв, в чем дело, снова ринулись друг к другу, но на этот раз получили по такому увесистому пинку, что Морозка, отлетев, ударился спиной о дерево, а парень, зацепившись за валежину и помахав руками, грузно осел в воду.

— Давай руку, подсоблю...— без насмешки сказал Гончаренко.— Удумали тоже!

— Да как же он, стерва... гадов таких... убивать мало!..— кричал Морозка, порываясь к мокрому и оглупевшему парню. Тот, держась одной рукой за Гончаренку и обращаясь исключительно к нему, другой бил себя в грудь, голова его тряслась.

— Нет, ты скажи, нет, ты скажи,— повторял он, чуть не плача,— значит, всякому так: захотел — и в зад, захотел — и в зад?..— Заметив, что к месту происшествия стекается народ, он пронзительно закричал: — Рази ви-виноват, виноват кто, что жена, жена у его...

Гончаренко, опасаясь скандала, а еще больше за Морозкину судьбу (если о скандале узнает Левинсон), бросил визжавшего парня и, схватив Морозку за руку, потащил его за собой.

— Идем, идем! — строго говорил он упиравшемуся Морозке.— Вот вышибут тебя, сукиного сына...

Морозка, поняв наконец, что этот сильный и строгий человек действительно сочувствует ему, перестал сопротивляться.

— Что, что там случилось? — спросил бежавший им навстречу голубоглазый немец из взвода Метелицы.

— Медведя поймали,— спокойно сказал Гончаренко.

— Медве-едя?..— Немец выпучил глаза и, постояв немного, вдруг ринулся с такой прытью, как будто хотел поймать еще одного медведя.

Морозка впервые с любопытством посмотрел на Гончаренку и улыбнулся.

— Здоровый ты, холера,— сказал он, почувствовав какое-то удовлетворение от того, что Гончаренко здоровый.

— За что ты его? — спросил подрывник.

— Да как же... гадов таких!..— снова заволновался Морозка.— Да его б надо...

— Ну-ну,— успокоительно перебил Гончаренко,— за дело, значит?.. Ну-ну...

— Собира-айсь! — кричал где-то Бакланов звонким, срывающимся с мужского на мальчишеский голосом.

В это время из кустов высунулась мохнатая Мишкина голова. Мишка посмотрел на людей умным зелено-карим глазом и тихо заржал.

— Эх!..— вырвалось у Морозки.

— Ладный конек...

— Жизни не жалко! — Морозка восторженно хлопнул жеребца по шее.

— Жизнью ты лучше не кидайся — сгодится...— Гончаренко чуть улыбнулся в темную курчавую бороду.— Мне еще коня поить, гуляй себе.— И он крепким, размашистым шагом пошел к своей лошади.

Морозка снова с любопытством проводил его глазами, раздумывая, почему он раньше не обращал внимания на такого удивительного человека.

Потом, когда становились взводы, он, сам того не замечая, пристроился рядом с Гончаренкой и уж всю дорогу до Хаунихедзы не расставался с ним.

Варя, Сташинский и Харченко, зачисленные во взвод Кубрака, ехали почти в самом хвосте. На поворотах хребта виден был весь отряд, растянувшийся длинной цепочкой: впереди, согнувшись, ехал Левинсон; за ним, бессознательно перенимая его позу, Бакланов.

Где-то за спиной Варя все время чувствовала Мечика, и обида на его вчерашнее поведение шевелилась в ней, заслоняя то большое и теплое чувство, которое она постоянно испытывала к нему.

Со времени ухода Мечика из госпиталя она ни на минуту не забывала о его существовании и жила одной мыслью о новой их встрече. С этим днем у нее связаны были самые задушевные, затаенные — о которых никому нельзя рассказывать,— но вместе с тем такие живые,

земные, почти осязаемые мечты. Она представляла себе, как он появится на опушке — в шагреневой рубахе, красивый, стройный, белокурый, немножко робеющий,— она чувствовала на себе его дыхание, мягкие курчавые волосы под рукой, слышала его нежный, влюбленный говор. Она старалась не вспоминать о недоразумениях с ним, ей казалось почему-то, что такое не может больше повториться. Одним словом, она представляла себе будущие отношения к Мечику такими, какими они никогда не были, но какими они были бы ей приятны, и старалась не думать о том, что действительно могло случиться, но доставило бы ей огорчение.

Столкнувшись с Мечиком, она, по свойственной ей чуткости к людям, поняла, что он слишком расстроен и возбужден, чтобы следить за своими поступками, и что расстроившие его события много важнее всяких ее личных обид. Но именно потому, что раньше эта встреча представлялась ей по-иному, нечаянная грубость Мечика оскорбила и напугала ее.

Варя впервые почувствовала, что грубость эта не случайна, что Мечик, может быть, совсем не тот, кого ждала она долгие дни и ночи, но что нет у нее никого другого.

У нее не хватало мужества сразу сознаться в этом: не так легко было выбросить все, чем долгие дни и ночи она жила — страдала, наслаждалась,— и ощутить в душе внезапную, ничем не заполнимую пустоту. И она заставляла себя думать так, будто ничего особенного не случилось, будто все дело в неудачной смерти Фролова, будто все пойдет по-хорошему, но вместо того с самого утра думала только о том, как Мечик обидел ее и как он не имел права обижать ее, когда она подошла к нему со своими мечтами и со своей любовью.

Весь день она испытывала мучительное желание увидеть Мечика и поговорить с ним, но ни разу не оглянулась и даже во время обеденного отдыха не подошла к нему. «Что я буду бегать за ним, как девочка! — думала она.— Ежели он вправду любит меня, как говорил, пущай подойдет первый, я ни словом не попрекну его. А ежели не подойдет, все равно — одна останусь... так ничего и не будет».

На главном становике тропа пошла шире, и рядом с Варей пристроился Чиж. Вчера ему не удалось поймать ее, но он был настойчив в таких делах и не терял на-

дежды. Она чувствовала прикосновение его ноги, он дышал ей на ухо какие-то стыдные слова, но, погруженная в свои мысли, она не слушала его.

— Ну как же вы, а? — приставал Чиж (он говорил «вы» всем лицам женского пола, независимо от их возраста, положения и отношения к нему).— Согласны — нет?..

«...Я все понимаю, разве я требую от него что-нибудь? — думала Варя.— Но неужто ему трудно было уважить меня?.. А может, он сам теперь страдает — думает, я на него в обиде. Что, ежели поговорить с ним? Как?! После того, как он прогнал меня?.. Нет, нет, и пущай ничего не будет...»

— Да что вы, милая, оглохли, что ли? Согласны, говорю?

— Чего согласны? — очнулась Варя.— Да ну тебя ко всем!

— Здравствуйте вам...— Чиж обиженно развел руками.— Да что вы, милая, представляетесь, будто в первый раз или маленькая.— Он принялся снова терпеливо нашептывать ей на ухо, убежденный, что она слышит и понимает его, но ломается, чтобы по бабьей привычке набить себе цену.

Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долины, а Мечик все не подъезжал к Варе и, как видно, не собирался. И чем больше она убеждалась в том, что он так и не подъедет к ней, тем сильнее она чувствовала бесплодную тоску и горечь прежних своих мечтаний и тем труднее ей было расстаться с ними.

Отряд спускался в балку на ночлег, в сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.

— Так вы не забудьте, миленькая,— с ласковой, наглой настойчивостью проговорил Чиж.— Да, огонек я в сторонке разложу. Имейте это в виду...— Немного погодя он кричал кому-то: — То есть как — «куда лезешь»? А ты чего стал на дороге?

— А ты чего в чужой взвод прешься?

— Как чужой? Разуй глаза!..

После короткого молчания, во время которого оба, очевидно, разували глаза, спрашивавший заговорил виноватым, съехавшим голосом:

— Тьфу, и правда «кубраки»... А Метелица где? —

И, как бы вполне загладив виноватым голосом свою ошибку, он снова натужно закричал: — Мете-лица!

А внизу кто-то, до того раздраженный, что, казалось, не исполни его требования — он или покончит с собой или начнет убивать других, вопил:

— Огня-а давай!.. Огня-а-а дава-ай!..

Вдруг на самом дне балки полыхнуло бесшумное зарево костра и вырвало из темноты мохнатые конские головы, усталые лица людей в холодном блеске патронташей и винтовок.

Сташинский, Варя и Харченко отъехали в сторону и тоже спешились.

— Ничего, теперь отдохнем, ог-гонек запалим! — с нарочитой и никого не веселящей бодростью говорил Харченко.— Ну-ка, за хворостом!..

— ...Всегда вот так — вовремя не остановимся, а потом страдаем,— рассуждал он тем же малоутешительным тоном, шаря руками в мокрой траве и действительно страдая — от сырости, от темноты, от боязни, что его укусит змея, и от угрюмого молчания Сташинского.— Помню, вот тоже с Сучана шли — давно б уже заночевать пора, хоть глаз выколи, а мы...

«И зачем он говорит все это? — думала Варя.— Сучан... куда-то они шли... глаза выкололи... Ну, кому все это нужно теперь? Ведь все, все уже кончилось, и ничего не будет». Ей хотелось есть, и от этого как-то усиливалось другое ощущение — немой и сдавленной пустоты, которую она теперь ничем не могла заполнить. Она едва не расплакалась.

Однако, поев и отогревшись, все трое повеселели, и окружавший их темно-синий, чужой и холодный мир показался уже своим, уютным и теплым.

— Эх, шинель ты моя, шинель,— сытым голосом говорил Харченко, развертывая скатку.— На огне не горит и в воде не тонет. Вот бы мне бабу сюда!..— Он подмигнул и рассмеялся.

«И чего я взъелась на него? — думала Варя, чувствуя, как от веселого костра, от съеденной каши, от домашних разговоров Харченки к ней возвращаются обычная ее мягкость и доброта.— И ничего ведь не было, с чего я так расстроилась? И парень сидит да скучает из-за моей дурости... А ведь стоит только пойти к нему, и все, все пойдет, как сначала...»

И ей вдруг так не захотелось носить в себе что-то обидное и злое и страдать от этого, когда всем вокруг так хорошо и бездумно и когда ей тоже может быть бездумно хорошо, что она тут же решила выбросить все из головы и пойти к Мечику, и не было уже в этом ничего зазорного для нее или плохого.

«Мне ничего, ничего не нужно,— думала она, сразу повеселев,— лишь бы он только хотел и любил меня, лишь бы он возле был... нет, я бы все отдала, ежели бы он всегда ездил, говорил, спал со мною, такой красивый и молоденький...»

Мечик и Чиж развели отдельный костер на отлете. Они поленились сварить себе ужин, пожарили над огнем сало, и, так как налегали на него больше, чем на хлеб, истратив все, оба сидели голодные. Мечик еще не пришел в себя после смерти Фролова и исчезновения Пики. Весь день он будто плыл в тумане, сотканном из чужих и строгих, отделяющих его от остальных людей мыслей об одиночестве и смерти. К вечеру эта пелена спала, но он никого не хотел видеть и всех боялся.

Варя с трудом отыскала их костер. Вся балка жила в таких же кострах и дымных песнях.

— Вот вы куда запрятались? — сказала она, выходя из кустов с бьющимся сердцем.— Здравствуйте.

Мечик вздрогнул и, чуждо-испуганно посмотрев на нее, отвернулся к огню.

— А-а!..— приятно осклабился Чиж...— Вас только и не хватало. Садитесь, милая, садитесь...

Он засуетился, распахнул шинель и показал ей место рядом. Но она не села с ним. Его обычная пошлость — качество, которое она сразу почувствовала в нем, хотя и не знала, что это такое,— теперь особенно неприятно резнула ее.

— Пришла проведать тебя, а то ты нас совсем забыл,— заговорила она певучим, волнующимся голосом, обращаясь к Мечику и не скрывая, что пришла исключительно из-за него.— Там уж и Харченко справлялся, как, мол, здоровье, шибко, мол, раненый парень был, а теперь будто и ничего, о себе уж я не говорю...

Мечик молча пожал плечами.

— Скажите, живем прекрасно — что за вопрос! — воскликнул Чиж, охотно принимая все на себя.— Да вы садитесь рядом, чего стесняетесь?

— Ничего, я ненадолго,— сказала она,— так только, проходом...— Ей стало вдруг обидно, что она пришла из-за Мечика, а он пожимает плечами. Она добавила: — А вы, видать, ничего и не кушали — котелок чистый...

— Чего там не кушали? Если бы продукты хорошие давали, а то черт знает что!..— Чиж брезгливо поморщился.— Да вы садитесь рядом! — с отчаянным радушием повторил он снова и, схватив ее за руку, притянул к себе.— Садитесь же!..

Она опустилась возле на шинель.

— Уговор-то наш помните? — Чиж интимно подмигнул.

— Какой уговор? — спросила она, с испугом припоминая что-то. «Ах, не надо, не надо было приходить»,— вдруг подумала она, и что-то большое и тревожное оборвалось в ней.

— То есть как — какой?.. А вот обождите...— Чиж быстро перегнулся к Мечику.— Хоть в обществе секретов и не полагается,— сказал он, обняв его за плечо и оборачиваясь к ней,— но...

— Какие там секреты?..— сказала она с неестественной улыбкой и, быстро мигая, начала зачем-то поправлять волосы дрожащими, непослушными пальцами.

— Какого ты черта сидишь, как тюлень? — быстро зашептал Чиж на ухо Мечику.— Тут все уже сговорено, а ты...

Мечик отпрянул от Чижа, мельком взглянул на Варю и густо покраснел. «Ну что, дождался? Видишь теперь, что делается»,— с укором сказал ему ее плывущий взгляд.

— Нет, нет, я пойду... нет, нет,— забормотала она, как только Чиж снова повернулся к ней, точно он уже предлагал ей нечто позорное и унизительное.— Нет, нет, я пойду...— Она вскочила и пошла мелким, скорым шагом, низко склонив голову; скрылась в темноте.

— Опять из-за тебя упустили... Раз-зява!..— прошипел Чиж презрительно и злобно. Вдруг он подпрыгнул, подхваченный какой-то стихийной силой, и стремительными скачками, точно его подбрасывал кто-то, помчался вслед за Варей.

Он нагнал ее в нескольких саженях и, крепко обняв, повлек в кусты, приговаривая:

— Ну же, миленькая... ну, девочка...

— Пусти меня... отстань... кричать буду!..— просила она, слабея и чуть не плача, но чувствуя, что у нее нет сил кричать и что кричать ей теперь не нужно: незачем и не для кого.

— Ну, миленькая, ну зачем же! — приговаривал Чиж, зажав ей рот и все больше возбуждаясь от собственной нежности.

«И правда, зачем? Ну, кому это нужно теперь? — подумала она устало.— Но ведь это Чиж... да, но ведь это же Чиж... откуда он, почему он?.. Ах, не все ли равно...» И ей действительно стало все безразлично.

XIII. Груз

— Не люблю я их, мужиков, душа не лежит,— говорил Морозка, плавно покачиваясь в седле, и в такт, когда Мишка ступал правой передней ногой, сшибал плетью ярко-желтые листья березок.— Бывал я тоже у деда. Двое дядьков там у меня — землю пашут. Нет, не лежит душа! Не то, не то — кровь другая: скупые, хитрые они... да что там! — Морозка, упустив березку, чтобы не потерять такт, хлестнул себя по сапогу.— А с чего бы, кажись, хитрить, скупиться? — спросил он, подымая голову.— Ну, ведь ни хрена, ни хре-на же у самих нету, подметай — чисто!..— И он засмеялся будто бы чужим, наивным, жалеющим смешком.

Гончаренко слушал, глядел промеж конских ушей, в серых его глазах стояло умное и крепкое выражение, какое бывает у людей, умеющих хорошо слушать, а еще лучше — думать по поводу услышанного.

— А я думаю, каждого из нас колупни,— сказал он вдруг,— *из нас*,— подчеркнул для большей прочности и посмотрел на Морозку,— меня, к примеру, или тебя, или вон Дубова,— в каждом из нас мужика найдешь... Найдешь,— повторил он убежденно.— Со многими потрохами, разве что только без лаптей...

— Это насчет чего? — оглянулся Дубов.

— А то и с лаптями... Разговор у нас насчет мужика... В каждом, говорю, из нас мужик сидит...

— Ну-у...— усомнился Дубов.

— А как же иначе?.. У Морозки, скажем, дед в деревне, дядья; у тебя...

— У меня, друг, никого,— перебил Дубов,— да и

слава богу! Не люблю, признаться, это семя... Хотя Кубрака возьми: ну сам он еще Кубрак Кубраком (не о каждого ж ума спросить!), а взвод он набрал? — И Дубов презрительно сплюнул.

Разговор этот происходил на пятый день пути, когда отряд спустился к истокам Хаунихедзы. Ехали они по старой зимней дороге, устланной мягким, засыхающим пырником. Хотя ни у кого не осталось ни крошки из харчей, припасенных в госпитале помощником начхоза, все были в приподнятом настроении, чувствуя близость жилья и отдыха.

— Ишь что делает? — подмигнул Морозка.— Дубов-то наш — старик, а? — И он засмеялся, удивляясь и радуясь тому, что взводный согласен с ним, а не с Гончаренкой.

— Нехорошо ты говоришь о народе,— сказал подрывник, нисколько не обескураженный.— Ладно, пущай у тебя никого, не в том дело — у меня теперь тоже никого. Рудник наш возьмем... Ну, ты, правда, еще российский, а Морозка? Он, окромя своего рудника, почти что ничего не видал...

— Как не видал? — обиделся Морозка.— Да я на фронте...

— Пущай, пущай,— замахал на него Дубов,— ну, пущай не видал...

— Так это ж деревня, рудник ваш,— спокойно сказал Гончаренко.— У каждого огород — раз. Половина на зиму приходит, на лето — обратно в деревню... Да у вас там зюбры кричат, как в хлеву!.. Был я на вашем руднике.

— Деревня? — удивлялся Дубов, не поспевая за Гончаренкой.

— А то что же? Копаются жинки ваши по огородам, народ кругом тоже все деревенский, а разве не влияет?.. Влияет! — И подрывник привычным жестом рассек воздух ладонью, поставленной на ребро.

— Влияет... Конечно...— неуверенно сказал Дубов, раздумывая, нет ли в этом чего-нибудь позорного для «угольного племени».

— Ну, вот... Возьмем теперь город; велики ль, сказать, города наши, много ль городов у нас? Раз, два — и обчелся... На тысячи верст — сплошная деревня... Влияет, я спрашиваю?

— Обожди, обожди,— растерялся взводный,— на тысячи верст? как сплошная?.. ну да — деревня... ну влияет!

— Вот и выходит, что в каждом из нас — трошки от мужика,— сказал Гончаренко, возвращаясь к исходной точке и этим точно покрывая все, о чем говорил Дубов,

— Ловко подвел! — восхитился Морозка, которого с момента вмешательства Дубова спор интересовал только как проявление человеческой ловкости.— Заел он тебя, старик, и крыть нечем!

— Это я к тому,— пояснил Гончаренко, не давая Дубову опомниться,— что гордиться нам не нужно перед мужиком, хотя б и Морозке,— без мужика нам тоже...— Он покачал головой и смолк; и, видимо, все, о чем говорил потом Дубов, не в состоянии было его разубедить.

«Умный, черт,— подумал Морозка, сбоку поглядывая на Гончаренку и проникаясь все большим уважением к нему.— Так припер старика — никуда не денешься». Морозка знал, что Гончаренко, как и все люди, может ошибаться, поступать несправедливо,— в частности, Морозка совсем не чувствовал на себе того мужицкого груза, о котором так уверенно говорил Гончаренко,— но все же он верил подрывнику больше, чем кому-либо другому. Гончаренко был «свой в доску», он «мог понимать», он «сознавал», а кроме того, он не был пустословом, праздным человеком. Его большие узловатые руки были жадны к работе, исполняли ее на первый взгляд медленно, но на самом деле споро — каждое их движение было осмысленно и точно.

И отношения между Морозкой и Гончаренкой достигли той первой, необходимой в дружбе ступени, о которой партизаны говорят: «Они спят под одной шинелькой», «они едят из одного котелка».

Благодаря ежедневному общению с ним Морозка начинал думать, что сам он, Морозка, тоже исправный партизан: лошадь у него в порядке, сбруя крепко зачинена, винтовка вычищена и блестит, как зеркало, в бою он первый и надежнейший, товарищи любят и уважают его за это. И, думая так, он невольно приобщался к той осмысленной здоровой жизни, какой, казалось, всегда живет Гончаренко, то есть к жизни, в которой нет места ненужным и праздным мыслям...

— О-ой... стой!..— кричали впереди. Возглас передавался по цепи, и, в то время как передние уже стали, задние продолжали напирать. Цепочка смешалась.

— Э-э... ут... Метелицу зовут...— снова побежало по цепи. Через несколько секунд, согнувшись по-ястребиному, промчался Метелица, и весь отряд с бессознательной гордостью проводил глазами его не отмеченную никакими уставами цепкую пастушью посадку.

— Поехать и мне, узнать, что там такое,— сказал Дубов.

Немного погодя он вернулся раздраженный, стараясь, однако, не показывать этого.

— В разведку Метелица едет, ночевать здесь будем,— сказал сдержанно, но в голосе его слышно для всех клокнули злые, голодные нотки.

— Как так, не евши?! О чем они там думают?! — закричали кругом.

— Отдохнули, называется...

— Вот язви его в свет!..— присоединился Морозка.

Впереди уже спешивались.

Левинсон решил заночевать в тайге, потому что не был уверен, что низовье Хаунихедзы свободно от неприятеля. Однако он надеялся, что даже в этом случае ему удастся, прощупав путь разведкой, пробраться в долину Тудо-Ваки, богатую лошадьми и хлебом.

Всю дорогу мучила его непереносная, усиливающаяся с каждым днем боль в боку, и он знал уже, что боль эту — следствие усталости и малокровия — можно вылечить только неделями спокойной и сытной жизни. Но так как еще лучше он знал, что долго не будет для него спокойной и сытной жизни, он всю дорогу приноравливался к новому своему состоянию, уверяя себя, что эта «совсем пустяковая болезнь» была у него всегда и потому никак не может помешать ему выполнить то дело, которое он считал своей обязанностью выполнить.

— А на мое мнение — надо иттить...— не слушая Левинсона и глядя на его ичиги, в четвертый раз повторял Кубрак с тупым упрямством человека, который не желает ничего знать, кроме того, что ему хочется есть.

— Ну, если уж тебе так невтерпеж, иди сам... сам иди... оставь себе заместителя и иди... А подводить весь отряд нам нет никакого расчета...

Левинсон говорил с таким выражением, точно у Кубрака был именно этот неправильный расчет.

— Иди-ка, брат, лучше караул снаряжай,— прибавил он, пропустив мимо ушей новое замечание взводного. Увидев, однако, что тот собирается настаивать, он вдруг нахмурился и строго спросил: — Что?..

Кубрак поднял голову и замигал.

— Вперед по дороге пустишь конный дозор,— продолжал Левинсон с прежней, чуть заметной издевкой в голосе,— а назад на полверсте поставишь пеший караул; лучше всего у ключа, что переезжали. Понятно?

— Понятно,— угрюмо сказал Кубрак, удивляясь, почему он говорит это, а не то, что ему хочется. «Холера двужильная»,— подумал он о Левинсоне с бессознательной, прикрытой уважением, неприязнью к нему и жалостью к себе.

Ночью, проснувшись внезапно, как он часто просыпался в последнее время, Левинсон вспомнил этот разговор с Кубраком и, закурив, пошел проверять караулы.

Стараясь не ступать на шинели спящих, пробрался он меж тлеющих костров. Крайний справа горел ярче других, возле него на корточках сидел дневальный и грел руки, протянув их ладонями к огню. Он, видно, совсем забыл об этом,— тесная баранья шапка сползла ему на затылок, глаза были задумчиво, широко раскрыты, и он чуть улыбался доброй, детской улыбкой. «Вот ловко!..» — подумал Левинсон, почему-то именно этим словом выразив то неясное чувство тихого, немного жуткого восторга, которое сразу овладело им при виде этих синих, тлеющих костров, улыбающегося дневального и — от всего, что смутно ждало его в ночи.

И он пошел еще тише и аккуратней — не для того, чтобы остаться незамеченным, а для того, чтобы не вспугнуть улыбку дневального. Но тот так и не очнулся и все улыбался на огонь. Наверное, этот огонь и идущий из тайги мокрый хрустящий звук выщипываемой травы напоминали дневальному «ночное» в детстве: росистый месячный луг, далекий крик петухов на деревне, притихший конский табун, побрякивающий путами, резвое пламя костра перед детскими зачарованными глазами... Костер этот уже отгорел и потому казался дневальному ярче и теплее сегодняшнего.

Едва Левинсон отошел от лагеря, как его обняла

сырая, пахучая темь, иоги тонули в чем-то упругом, пахло грнбами н гниющим деревом. «Какая жуть!» — подумал он и огляиулся. Позади не было уже ии одного золотнстого просвета — лагерь точио провалнлся вместе с улыбающимся дневальным. Левинсон глубоко вздохнул и иарочито веселым шагом пошел по тропинке вглубь.

Через иекоторое время ои услышал тнхое журчание ключа, постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя, зашагал еще быстрее, стараясь сильиее шуршать, чтобы было слышно.

— Кто?.. Кто там?..— раздался из темноты срывающийся голос.

Левинсои узиал Мечика и пошел иапрямик, не отзываясь. В сжавшейся тишиие лязгнул затвор и, запнувшись за что-то, жалобно заскрипел. Слышно было, как нервничают руки, стараясь дослать патрон.

— Почаще смазывать надо,— насмешливо сказал Левннсон.

— Ах, это вы?..— с облегчением вырвалось у Мечнка.— Нет, я смазываю... не знаю, что там случилось...— Он смущенно посмотрел на командира и, забыв про открытый затвор, опустнл винтовку.

Мечик попал в караул в третью смену, в полночь. Прошло не более получаса, как отшуршали в траве иеспешные шаги разводящего, ио Мечику казалось, что ои стоит уже очень долго. Он был наедине со своими мыслями в большом враждебном мире, где все шевелилось, медленно жнло чужой, сторожкой и хищиой жизиью.

В сущиости, все это время его занимала только одиа мысль, которая иеизвестно когда и откуда родилась в ием, ио теперь он иеизмеиио возвращался к ней, о чем бы ии думал. Ои знал, что никому ие скажет об этой мысли, зиал, что мысль эта чем-то плоха, очень постыдиа, но он также знал, что теперь уже не расстаиется с ней — всеми силами постарается выполнить ее, потому что это было последиее и единственное, что ему оставалось.

Мысль эта сводилась к тому, чтобы тем или ииым путем, ио как можно скорее уйтн из отряда.

И прежняя жнзнь в городе, казавшаяся раньше такой безрадостиой и скучной, теперь, когда ои думал о том, что снова сможет вернуться к ней, выглядела та-

кой счастливой, и беззаботной, и единственно возможной.

Увидев Левинсона, Мечик смутился не столько оттого, что винтовка была не в порядке, сколько оттого, что с этими своими мыслями он был захвачен врасплох.

— Ну и вояка! — сказал Левинсон добродушно. После улыбающегося дневального ему не хотелось сердиться.— Жутко стоять, да?

— Нет... чего же,— смешался Мечик,— я уж привык...

— А я вот никак не могу привыкнуть,— усмехнулся Левинсон.— Уж сколько один хожу и езжу — днем и ночью,— а все жутко... Ну, как тут, спокойно?

— Спокойно,— сказал Мечик, глядя на него с удивлением и некоторой робостью.

— Ну, ничего, скоро вам легче будет,— отозвался Левинсон как бы не на слова Мечика, а на то, что крылось под ними.— Только бы на Тудо-Ваку выйти, а там легче... Куришь? Нет?

— Нет, не курю... так, иногда балуюсь,— поспешно добавил Мечик, вспомнив про Варин кисет, хотя Левинсон и не мог знать про существование этого кисета.

— А не скучно без курева?.. «Табак дело», как сказал бы Канунников,— был у нас такой хороший партизан. Не знаю, пробрался ли он в город...

— А зачем он пошел туда? — спросил Мечик, и от какой-то неясной мысли у него забилось сердце.

— Послал я его с донесением, да время очень тревожное, а там вся наша сводка.

— Так можно ведь и еще послать,— сказал Мечик неестественным голосом, стараясь делать вид, будто нет ничего особенного в его словах.— Не думаете еще послать?

— А что? — насторожился Левинсон.

— Да так... Если думаете — могу я свезти... Мне там все знакомо.

Мечику показалось, что он слишком поторопился, и Левинсону теперь все стало ясно.

— Нет, не думаю...— в раздумье протянул Левинсон.— У вас там что? родные?

— Нет, я вообще там работал... то есть у меня есть там родные, но я не потому... нет, вы можете на меня положиться: когда я работал в городе, мне не раз приходилось перевозить секретные пакеты.

— А с кем вы работали?

— Работал я с максималистами, но я думал тогда, что это все равно...

— То есть как все равно?

— Да с кем ни работать..

— А теперь?

— А теперь меня как-то с толку сбили,— тихо сказал Мечик, не зная, что же наконец от него требуется.

— Так...— протянул Левинсон, словно это и было как раз то, что требуется.— Нет, нет, не думаю... не думаю отправлять,— повторил он снова.

— Нет, вы знаете, почему я еще заговорил об этом?..— начал Мечик с внезапной нервной решимостью, и голос его задрожал.— Вы только не подумайте обо мне плохо и вообще не думайте, что я скрываю что-нибудь,— я буду с вами совсем откровенным...

«Сейчас я скажу ему все»,— подумал он, чувствуя, что действительно сейчас все скажет, не зная, хорошо ли это или плохо.

— Я заговорил об этом еще потому, что мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан, и будет лучше, если вы меня отправите... Нет, вы не подумайте, что я боюсь или прячу от вас что-нибудь, но ведь я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю... Ведь я ни с кем, ни с кем здесь не могу сойтись, ни от кого не вижу поддержки, а разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой, но всегда натыкался на грубость, насмешки, издевательства, хотя я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен — вы это знаете... Я теперь никому не верю... я знаю, что если бы я был сильнее, меня бы слушались, меня бы боялись, потому что каждый здесь только с этим и считается, каждый смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, хотя бы для этого украсть у своего товарища, и никому нет дела до всего остального... Мне даже кажется иногда, что, если бы они завтра попали к Колчаку, они так же служили бы Колчаку и так же жестоко расправлялись бы со всеми, а я не могу, а я не могу этого делать!..

Мечик чувствовал, как с каждым словом разрывается в нем какая-то мутная пелена, слова с необыкновенной легкостью вылетают из растущей дыры, и от этого ему самому становилось легче. Хотелось говорить еще

и еще, и было уже совсем безразлично, как отнесется к этому Левинсон.

«Вот тебе и на... ну — каша!..» — думал Левинсон, все с большим любопытством вслушиваясь в то, что нервно билось под словами Мечика.

— Постой,— сказал он наконец, тронув его за рукав, и Мечик с особенной ясностью почувствовал на себе его большие и темные глаза.— Ты, брат, наговорил — не проворотишь!.. Остановимся пока на этом. Возьмем самое важное... Ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо...

— Да нет же! — воскликнул Мечик: ему казалось, что самое важное в его словах было не это, а то, как ему плохо здесь живется, как все его несправедливо обижают и как он хорошо делает, говоря об этом откровенно, начистоту.— Я хотел сказать...

— Нет, обожди уж, теперь я скажу,— мягко перебил Левинсон.—Ты сказал, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и если бы мы попали к Колчаку...

— Нет, я не говорил о вас лично!.. Я...

— Это все равно... Если бы они попали к Колчаку, то они так же жестоко и бессмысленно исполняли бы то дело, какое угодно было Колчаку? Но это же совсем неверно!..— И Левинсон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется ему неверным.

Но чем дальше он говорил, тем яснее ему становилось, что он тратит слова впустую. По тем отрывистым замечаниям, которые вставлял Мечик, он чувствовал, что нужно бы было говорить о чем-то другом, более основном и изначальном, к чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже осмысленного и решительного действия.

— Ну, что ж с тобой сделаешь,— сказал он наконец с суровой и доброй жалостью,— пеняй тогда сам на себя. А идти тебе некуда. Глупо. Убьют тебя, и все... Лучше подумай как следует, особенно над тем, что я сказал... Об этом не вредно подумать.

— Я только об этом и думаю,— глухо сказал Мечик, и прежняя нервная сила, заставлявшая его говорить так много и смело, сразу покинула его.

— А главное — не считай своих товарищей хуже себя. Они не хуже, нет...— Левинсон достал кисет и медленно стал свертывать папироску.

Мечик с вялой тоской наблюдал за ним.

— А затвор ты замкни все-таки,— сказал вдруг Левинсон, и видно было, что он во все время их разговора помнил о раскрытом затворе.— Пора бы уж привыкнуть к таким вещам — не дома.— Он чиркнул спичкой, и на мгновение выступили из темноты его полузакрытые веки с длинными ресницами, тонкие ноздри, бесстрастная рыжая борода.— Да, как кобыла твоя? Ты все на ней ездишь?

— На ней...

Левинсон подумал.

— Вот что: завтра я тебе Нивку дам, знаешь? Пика на ней ездил... А Зючиху начхозу сдашь. Сойдет?

— Сойдет,— грустно сказал Мечик.

«Экий непроходимый путаник»,— думал потом Левинсон, мягко и осторожно ступая в темную траву и часто пыхая цигаркой. Он был немножко взволнован всем этим разговором. Он думал о том, как Мечик все-таки слаб, ленив, безволен и как же на самом деле безрадостно, что в стране плодятся еще такие люди — никчемные и нищие. «Да, до тех пор, пока у нас, на нашей земле,— думал Левинсон, заостряя шаг и чаще пыхая цигаркой,— до тех пор, пока миллионы людей живут еще в грязи и бедности, по медленному, ленивому солнцу, пашут первобытной сохой, верят в злого и глупого бога,— до тех пор могут рождаться на ней такие ленивые и безвольные люди, такой никчемный пустоцвет...»

И Левинсон волновался, потому что все, о чем он думал, было самое глубокое и важное, о чем он только мог думать, потому что в преодолении этой скудности и бедности заключался основной смысл его собственной жизни, потому что не было бы никакого Левинсона, а был бы кто-то другой, если бы не жила в нем огромная, не сравнимая ни с каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека. Но какой может быть разговор о новом, прекрасном человеке до тех пор, пока громадные миллионы вынуждены жить такой первобытной и жалкой, такой немыслимо-скудной жизнью.

«Но неужели и я когда-нибудь был такой или похожий?» — думал Левинсон, мысленно возвращаясь к Мечику. И он пытался представить себя таким, каким он был в детстве, в ранней юности, но это давалось ему с трудом: слишком прочно и глубоко залегли — и слишком значительны для него были — напластования последующих лет, когда он был уже тем Левинсоном, которого все знали именно как *Левинсона*, как человека, всегда идущего во главе.

Он только и смог вспомнить старинную семейную фотографию, где тщедушный еврейский мальчик — в черной курточке, с большими наивными глазами — глядел с удивительным, недетским упорством в то место, откуда, как ему сказали тогда, должна была вылететь красивая птичка. Она так и не вылетела, и помнится, он чуть не заплакал от разочарования. Но как много понадобилось еще таких разочарований, чтобы окончательно убедиться в том, что «так не бывает!».

И когда он действительно убедился в этом, он понял, какой неисчислимый вред приносят людям лживые басни о красивых птичках — о птичках, которые должны откуда-то вылететь и которых многие бесплодно ожидают всю свою жизнь... Нет, он больше не нуждался в них! Он беспощадно задавил в себе бездейственную, сладкую тоску по ним — все, что осталось в наследство от ущемленных поколений, воспитанных на лживых баснях о красивых птичках!.. «Видеть все так, как оно есть,— для того, чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть», — вот к какой — самой простой и самой нелегкой — мудрости пришел Левинсон.

«...Нет, все-таки я был крепкий парень, я был много крепче его,— думал он теперь с необъяснимым, радостным торжеством, которого никто не мог бы понять, даже предположить в нем,— я не только многого хотел, но я многое *мог* — в этом все дело...» Он шел, уже не разбирая дороги, и холодные росистые ветви освежали его лицо, он чувствовал прилив необыкновенных сил, вздымавших его на недосягаемую высоту, и с этой обширной, земной, человеческой высоты он господствовал над своими недугами, над слабым своим телом...

Когда Левинсон вышел к лагерю, костры уже повяли, дневальный больше не улыбался — слышно было,

как он возится где-то с лошадью, приглушенно ругаясь. Левинсон пробрался к своему костру; костер едва тлел, возле него крепким и безмятежным сном спал Бакланов, закутавшись в шинель. Левинсон подложил сухой травы и хворосту и раздул пламя. От сильного напряжения у него закружилась голова. Бакланов почувствовал тепло, заворочался и зачмокал во сне,— лицо его было открыто, губы по-детски выпячены, фуражка, прижатая виском, стояла торчмя, и весь он походил на большого, сытого и доброго щенка. «Ишь ты»,— любовно подумал Левинсон и улыбнулся; после разговора с Мечиком почему-то особенно приятно было смотреть на Бакланова.

Потом он, кряхтя, улегся рядом и только закрыл глаза — закружил, закачался, поплыл куда-то, не чувствуя своего тела, пока не ухнул сразу в бездонную черную яму.

XIV. Разведка Метелицы

Отправляя Метелицу в разведку, Левинсон наказал ему во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но деревня, куда послан был взводный, на самом деле лежала много дальше, чем предполагал Левинсон: Метелица покинул отряд около четырех часов пополудни и на совесть гнал жеребца, согнувшись над ним, как хищная птица, жестоко и весело раздувая тонкие ноздри, точно опьяненный этим бешеным бегом после пяти медлительных и скучных дней,— но до самых сумерек бежала вслед, не убывая, осенняя тайга — в шорохе трав, в холодном и грустном свете умирающего дня. Уже совсем стемнело, когда он выбрался наконец из тайги и придержал жеребца возле старого и гнилого, с провалившейся крышей омшаника, как видно, давным-давно заброшенного людьми.

Он привязал лошадь и, хватаясь за рыхлые, осыпающиеся под руками края сруба, взобрался на угол, рискуя провалиться в темную дыру, откуда омерзительно и жутко пахло осклизлым деревом и задушенными травами. Приподнявшись на цепких полусогнутых ногах, стоял он минут десять не шелохнувшись, зорко

вглядываясь и вслушиваясь в ночь, не видный на темном фоне леса и еще более похожий на хищную птицу. Перед ним лежала хмурая долина в темных стогах и рощах, зажатая двумя рядами сопок, густо черневших на фоне неласкового звездного неба.

Метелица впрыгнул в седло и выехал на дорогу. Ее черные, давно не езженные колеи едва проступали в траве. Тонкие стволы берез тихо белели во тьме, как потушенные свечи.

Он поднялся на бугор: слева по-прежнему шла черная гряда сопок, изогнувшаяся, как хребет гигантского зверя; шумела река. Верстах в двух, должно быть возле самой реки, горел костер,— он напомнил Метелице о сиром одиночестве пастушьей жизни; дальше, пересекая дорогу, тянулись желтые, немигающие огни деревни. Линия сопок справа отворачивала в сторону, теряясь в синей мгле; в этом направлении местность сильно понижалась. Как видно, там пролегало старое речное русло; вдоль него чернел угрюмый лес.

«Болото там, не иначе»,— подумал Метелица. Ему стало холодно: он был в расстегнутой солдатской фуфайке поверх гимнастерки с оторванными пуговицами, с распахнутым воротом. Он решил ехать сначала к костру. На всякий случай вынул из кобуры револьвер и сунул за пояс под фуфайку, а кобуру спрятал в сумку за седлом. Винтовки с ним не было. Теперь он походил на мужика с поля: после германской войны многие ходили так, в солдатских фуфайках.

Он был уже совсем близко от костра,— вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме. Жеребец рванулся и, вздрагивая могучим телом, прядая ушами, завторил страстно и жалобно. В то же мгновение у огня качнулась тень. Метелица с силой ударил плетью и взвился вместе с лошадью.

У костра, вытаращив испуганные глазенки, держась одной рукой за кнут, а другую, в болтающемся рукаве, приподняв, точно защищаясь, стоял худенький черноголовый мальчишка — в лаптях, в изорванных штанишках, в длинном не по росту пиджаке, обернутом вокруг тела и подпоясанном пенькой. Метелица свирепо осадил жеребца перед самым носом мальчишки, едва не задавив его, и хотел уже крикнуть ему что-то повелительное и грубое, как вдруг увидел перед собой эти

испуганные глаза над болтающимся рукавом, штанишки с просвечивающими голыми коленками и этот убогий, с хозяйского плеча пиджак, из которого так виновато и жалко смотрела тонкая и смешная детская шея...

— Чего же ты стоишь?.. Напужался? Ах ты, воробей, воробей,— вот дурак-то тоже! — смутившись, заговорил Метелица невольно с той ласковой грубостью, с которой никогда не говорил с людьми, а только с лошадьми.— Стоит — и крышка!.. А ежели б задавил тебя?.. Ах, вот дурак-то тоже! — повторил он, размягчаясь вовсе, чувствуя, как при виде этого мальчишки и всей этой убогости пробуждается в нем что-то — такое же жалкое, смешное, детское... Мальчишка от испуга едва перевел дух и опустил руку.

— А чего ж ты налетел, как бузуй? — сказал он, стараясь говорить резонно и независимо, как взрослый, но все еще робея.— Напужался — тут у меня кони...

— Ко-они? — насмешливо протянул Метелица.— Скажите на милость! — Он уперся в бока, откинулся назад, рассматривая парнишку, прищурившись и чуть пошевеливая атласными подвижными бровями, и вдруг засмеялся так откровенно громко, на таких высоких добрых и веселых нотах, что даже сам удивился, как это выходят из него такие звуки.

Парнишка смущенно, недоверчиво шмыгнул носом, но, поняв, что страшного ничего нет, а все, наоборот, выходит ужасно весело, сморщился так, что нос его вздернулся кверху, и тоже — совсем по-детски — залился озорно и тоненько. От неожиданности Метелица прыснул еще громче, и оба они, невольно подзадоривая друг друга, хохотали так несколько минут: один — раскачиваясь на седле взад и вперед, поблескивая огненными от костра зубами, а другой — упав на задницу, упершись в землю ладонями и откидываясь назад всем телом при каждом новом взрыве.

— Ну, и насмешил, хозяин! — сказал наконец Метелица, выпрастывая ногу из стремени.— Чудак ты, право...— Он соскочил на землю и протянул руку к огню.

Парнишка, перестав смеяться, смотрел на него с серьезным и радостным изумлением, как будто ждал от него еще самых неожиданных чудачеств.

— И веселый же ты, дьявол,— выговорил он наконец раздельно и четко, словно подвел окончательный итог своим убеждениям.

— Я-то? — усмехнулся Метелица.— Я, брат, веселый...

— А я так напужался,— сознался парнишка.— Кони тут у меня. А я картошку пеку...

— Картошку? Это здорово!..— Метелица уселся рядом, не выпуская из руки уздечки.— Где ж ты берешь ее, картошку?

— Вона, где берешь... Да тут ее гибель! — И парнишка повел руками вокруг.

— Воруешь, значит?

— Ворую... Давай я подержу коня-то... Или жеребец у тебя?.. Да я, брат, не упущу, не бойся... Хороший жеребец,— сказал парнишка, опытным взглядом окинув ладную, худую, с подтянутым животом, и мускулистую фигуру жеребца.— А откуль сам?

— Ничего жеребец,— согласился Метелица.— А ты откуда?

— А вон,— кивнул мальчишка в сторону огней.— Ханихеза — село наше... Сто двадцать дворов, как одна копеечка,— повторил он чьи-то чужие слова и сплюнул.

— Так... А я с Воробьевки за хребтом. Может, слыхал?

— С Воробьевки? Не, не слыхал,— далеко, видать...

— Далеко.

— А к нам зачем?

— Да как сказать... Это, брат, долго рассказывать... Ко́ней думаю у вас куповать, ко́ней, говорят, у вас тут много... Я, брат, их люблю, коней-то,— проникновенно-хитро сказал Метелица,— сам всю жизнь пас, только чужих.

— А я, думаешь, своих? Хозяйские...

Парнишка выпростал из рукава худую грязную ручонку и кнутовищем стал раскапывать золу, откуда заманчиво и ловко покатились черные картофелины.

— Может, ты ись хочешь? — спросил он.— У меня и хлеб е, ну — мало...

— Спасибо, я только что нажрался — вот! — соврал Метелица, показав по самую шею и только теперь почувствовав, как сильно ему хочется есть.

Парнишка разломил картофелину, подул на нее,

сунул в рот половину вместе с кожурой, повернул на языке и с аппетитом стал жевать, пошевеливая острыми ушками. Прожевав, он посмотрел на Метелицу и так же раздельно и четко, как раньше определил его веселым человеком, сказал:

— Сирота я, полгода уж, как сирота. Тятьку у меня казаки вбили, а мамку изнасилили и тоже вбили, а брата тоже...

— Казаки? — встрепенулся Метелица.

— А как же? Вбили почем зря. И двор весь попалили, да не у нас одних, а дворов двенадцать, не менее, и каждый месяц наезжают, сейчас тоже человек сорок стоит. А волостное село за нами, Ракитное, так там цельный полк все лето стоит. Ох, и лютуют! Бери картошку-то...

— Как же вы так — и не бежали?.. Вон лес у вас какой...— Метелица даже привстал.

— Что ж лес? Век в лесу не просидишь. Да и болота там — не вылезешь — такое бучило...

«Как угадал»,— подумал Метелица, вспомнив свои предположения.

— Знаешь что,— сказал он, подымаясь,— попаси-ка коня моего, а я в село пешком схожу. У вас, я вижу, тут не то что купить, а и последнее отберут...

— Что ты скоро так? Сиди!..— сказал пастушонок, сразу огорчившись, и тоже встал.— Одному скушно тут,— пояснил он жалостным голосом, глядя на Метелицу большими просящими и влажными глазами.

— Нельзя, брат,— Метелица развел руками,— самое разведать, пока темно... Да я вернусь скоро, а жеребца спутаем... Где у них там самый главный стоит?

Парнишка объяснил, как найти избу, где стоит начальник эскадрона и как лучше пройти задами.

— А собак у вас много?

— Собак — хватает, да они не злые.

Метелица, спутав жеребца и попрощавшись, двинулся по тропинке вдоль реки. Парнишка с грустью смотрел ему вслед, пока он не исчез во тьме. Через полчаса Метелица был под самым селом. Тропинка отвернула вправо, но он по совету пастушонка продолжал идти по скошенному лугу, пока не натолкнулся на прясло, огибавшее мужицкие огороды,— дальше пошел задами. Село уже спало; огни потухли; чуть видны были при

свете звезд теплые соломенные крыши хатенок в садах пустых и тихих; с огородов шел запах вскопанной сырой земли.

Метелица, миновав два переулка, свернул в третий. Собаки провожали его неверным хриплым лаем, точно напуганные сами, но никто не вышел на улицу, не окликнул его. Чувствовалось, что здесь привыкли ко всему, привыкли и к тому, что незнакомые, чужие люди бродят по улицам, делают, что хотят. Не видно было даже обычных в осеннее время, когда по деревням справляют свадьбы, шушукающихся парочек: в густой тени под плетнями никто не шептал о любви в эту осень.

Руководствуясь приметами, которые дал ему пастушонок, он прошел еще несколько переулков, кружа возле церкви, и наконец уперся в крашеный забор поповского сада. (Начальник эскадрона стоял в доме попа.) Метелица заглянул внутрь, пошарил глазами, прислушался и, не найдя ничего подозрительного, бесшумно перемахнул через забор.

Сад был густой и ветвистый, но листья уже опали. Метелица, сдерживая могучий трепет сердца, почти не дыша, пробирался вглубь. Кусты вдруг оборвались, пересеченные аллеей, и саженях в двадцати, налево от себя, он увидел освещенное окно. Оно было открыто. Там сидели люди. Ровный мягкий свет струился по опавшей листве, и яблони, отсвеченные по краям, стояли в нем странные и золотые.

«Вот оно!» — подумал Метелица, нервно дрогнув щекой и вспыхнув и загораясь весь тем жутким, неотвратимым чувством бесстрашного отчаяния, которое толкало его обычно на самые безрассудные подвиги: еще раздумывая, нужно ли кому-нибудь, чтобы он подслушал разговор этих людей в освещенной комнате, он знал, в сущности, что не уйдет отсюда до тех пор, пока не сделает этого. Через несколько минут он стоял за яблоней под самым окном, жадно вслушиваясь и запоминая все, что творилось *там*.

Их было четверо, они играли в карты за столом, в глубине комнаты. По правую руку сидел маленький старый попик в прилизанных волосиках и юркий на глаз,— он ловко сновал по столу худыми, маленькими ручками, неслышно перебирая карты игрушечными пальцами и стараясь заскочить глазами под каждую,

так что сосед его, сидевший спиной к Метелице, принимая сдачу, просматривал ее боязно и торопливо и тотчас же прятал под стол. Лицом к Метелице сидел красивый, полный, ленивый и, как видно, добродушный офицер с трубкой в зубах,— должно быть, из-за его полноты Метелица принял его за начальника эскадрона. Однако во все последующее время он по необъяснимым для себя причинам интересовался больше четвертым из игравших — с лицом обрюзглым и бледным и с неподвижными ресницами, тот был в черной папахе и в бурке без погон, в которую кутался каждый раз после того, как сбрасывал карту.

Вопреки тому, что ожидал услышать Метелица, они говорили о самых обыкновенных и неинтересных вещах: добрая половина разговора вертелась вокруг карт.

— Восемьдесят играю,— сказал сидевший к Метелице спиной.

— Слабо, ваше благородие, слабо,— отозвался тот, что был в черной папахе.— Сто втемную,— добавил он небрежно.

Красивый и полный, прищурившись, проверил свои и, вынув трубку, поднял до ста пяти.

— Я пас,— сказал первый, отворачиваясь к попику, который держал прикуп.

— Я так и думал...— усмехнулась черная папаха.

— Разве я виноват, если карты не идут? — оправдываясь, говорил первый, обращаясь за сочувствием к попику.

— По маленькой, по маленькой,— шутил попик, сожмуриваясь и посмеиваясь мелко-мелко, точно желая подчеркнуть таким мелким смешком всю незначительность игры своего собеседника.— А двести два очка уже списали-с... знаем мы вас!..— И он с неискренней ласковой хитрецой погрозил пальчиком.

«Вот гнида»,— подумал Метелица.

— Ах, и вы пас? — переспросил попик ленивого офицера.— Пожалуйте прикуп-с,— сказал он черной папахе и, не раскрывая карт, сунул их ей.

В течение минуты они с ожесточением шлепали по столу, пока черная папаха не проиграла. «А задавался, рыбий глаз»,— презрительно подумал Метелица, не зная — уходить ли ему или подождать еще. Но он не смог уйти, потому что проигравший повернулся к окну,

и Метелица почувствовал на себе пронзительный взгляд, застывший в страшной немигающей точности.

Тем временем сидевший спиной к окну начал тасовать карты. Он делал это старательно и экономно, как молятся не очень древние старушки.

— А Нечитайлы нет,— зевая, сказал ленивый.— Как видно, с удачей. Лучше бы и я с ним пошел...

— Вдвоем? — спросила папаха, отвернувшись от окна.— Она бы сдюжила! — добавила она, скривившись.

— Васенка-то? — переспросил попик.— У-у... она бы сдюжила!.. Тут у нас здоровенный псаломщик был — да ведь я вам рассказывал... Ну, только Сергей Иванович не согласился б. Никогда-с... Знаете, что он мне вчера по секрету сказал? «Я, говорит, ее с собой возьму, я, говорит, на ней и жениться не побоюсь, я, говорит...» Ой! — вдруг воскликнул попик, закрывая рот ладошкой и хитро поблескивая своими умненькими глазками.— Вот память! И не хотел, да проговорился. Ну, чур, не выдавать! — И он с мнимым испугом замахал ладошками. И хотя все так же, как Метелица, видели неискренность и скрытую угодливость каждого его слова и движения, никто не сказал ему об этом, и все засмеялись.

Метелица, согнувшись и пятясь боком, полез от окна. Он только свернул в поперечную аллею, как вдруг лицом к лицу столкнулся с человеком в казачьей шинели, наброшенной на одно плечо,— позади него виднелись еще двое.

— Ты что тут делаешь? — удивленно спросил этот человек, бессознательным движением придержав шинель, чуть не упавшую, когда он наткнулся на Метелицу.

Взводный отпрыгнул и бросился в кусты.

— Стой! Держи его! Держи! Сюда!.. Эй! — закричало несколько голосов. Резкие, короткие выстрелы затрещали вслед.

Метелица, путаясь в кустах и потеряв фуражку, рвался наугад, но голоса стонали, выли уже где-то впереди, и злобный собачий лай доносился с улицы.

— Вот он, держи! — крикнул кто-то, бросаясь к Метелице с вытянутой рукой. Пуля визгнула у самого уха. Метелица тоже выстрелил. Человек, бежавший на него, споткнулся и упал.

— Врешь, не поймаешь...— торжественно сказал Метелица, до самой последней минуты действительно не веривший в то, что его смогут скрутить.

Но кто-то большой и грузный навалился на него сзади и подмял под себя. Метелица попытался высвободить руку, но жестокий удар по голове оглушил его...

Потом его били подряд, и, даже потеряв сознание, он чувствовал на себе эти удары еще и еще...

В низине, где спал отряд, было темновато и сыро, но из оранжевого прогала за Хауинхедзой глядело солнце, и день, пахнувший осенним тлением, занялся над тайгой.

Дневальный, прикорнувший возле лошадей, заслышал во сне настойчивый, монотонный звук, похожий на далекую пулеметную дробь, и испуганно вскочил, схватившись за винтовку. Но это стучал дятел на старой ольхе возле реки. Дневальный выругался и, ежась от холода, кутаясь в дырявую шинель, вышел на прогалину. Никто не проснулся больше: люди спали глухим, безликим и безнадежным сном, каким спят голодные, измученные люди, которым ничего не сулит новый день.

«А взводного нет все...— нажрался, видать, и дрыхнет где в избе, а тут не евши сиди»,— подумал дневальный. Обычно он не меньше других восхищался и гордился Метелицей, но теперь ему казалось, что Метелица довольно подлый человек и напрасно его сделали взводным командиром. Дневальному сразу не захотелось страдать тут, в тайге, когда другие, вроде Метелицы, наслаждаются всеми земными радостями, но он не решался потревожить Левинсона без достаточных оснований и разбудил Бакланова.

— Что?.. Не приехал?..— завозился Бакланов, тараща спросонья ничего не понимающие глаза.— Как не приехал?! — закричал он вдруг, все еще не придя в себя, но поняв уже, о чем идет речь, испугавшись этого.— Нет, да ты, братец, оставь, не может этого быть... Ах, да! Ну, буди Левинсона.—Он вскочил, быстрым движением перетянул ремень, собрав к переносью заспанные брови, сразу весь отвердел и замкнулся.

Левинсон, как ни крепко он спал, услышав свою фамилию, тотчас же открыл глаза и сел. Взглянув на дневального и Бакланова, он понял, что Метелица не приехал и что уже давно пора выступать. В первую минуту он почувствовал себя настолько усталым и разбитым,

что ему захотелось зарыться с головой в шинель и снова заснуть, забыв о Метелице и о своих недугах. Но в ту же минуту он стоял на коленях и, свертывая скатку, отвечал сухим и безразличным тоном на тревожные расспросы Бакланова:

— Ну и что ж такого? Я так и думал... Конечно, мы встретим его по дороге.

— А если не встретим?

— Если не встретим?.. Слушай, нет ли у тебя запасного шнурка на скатку?

— Вставай, вставай, кобылка! Даешь деревню! — кричал дневальный, ногами расталкивая спящих. Из травы подымались всклокоченные партизанские головы, и вдогонку дневальному летели первые, недоделанные спросонья матюки,— в хорошее время Дубов называл такие «утренниками».

— Злые все,— задумчиво сказал Бакланов.— Жрать хотят...

— А ты? — спросил Левинсон.

— Что — я?.. Обо мне разговору нет.— Бакланов насупился.— Как ты, так и я — точно не знаешь...

— Нет, я знаю,— сказал Левинсон с таким мягким и кротким выражением, что Бакланов впервые внимательно присмотрелся к нему.

— А ты, брат, похудел,— сказал он с неожиданной жалостью.— Одна борода осталась. Я бы на твоем месте...

— Идем-ка лучше умываться,— прервал его Левинсон, виновато и хмуро улыбнувшись.

Они прошли к реке. Бакланов снял обе рубахи и стал полоскаться. Видно было, что он не боялся холодной воды. Тело у него было крепкое, плотное, смуглое, точно литое, а голова круглая и добрая, как у ребенка, и мыл он ее тоже каким-то наивным ребячьим движением — поливал из ладони и растирал одной рукой.

«О чем-то я много говорил вчера и что-то обещал, и как-то неладно теперь»,— подумал вдруг Левинсон, смутно и с неприязнью вспомнив вчерашний разговор с Мечиком и свои мысли, связанные с этим разговором. Не то чтобы они показались ему неправильными теперь, то есть не выражавшими того, что происходило в нем на самом деле,— нет, он чувствовал, что это были довольно правильные, умные, интересные мысли, и все-

таки он испытывал теперь смутное недовольство, вспоминая их. «Да, я обещал ему другую лошадь... Но разве в этом может быть что-нибудь неладное? Нет, я поступил бы так и сегодня — значит, тут все в порядке... Так в чем же дело?.. А дело в том...»

— Что ж ты не умываешься? — спросил Бакланов, кончив полоскаться и докрасна растираясь грязным полотенцем.— Холодная вода. Хорошо!

«...А дело в том, что я болен и с каждым днем все хуже владею собой»,— подумал Левинсон, спускаясь к воде.

Умывшись, перепоясавшись и ощутив на бедре привычную тяжесть маузера, он почувствовал себя все-таки отдохнувшим за ночь.

«Что случилось с Метелицей?» Эта мысль теперь целиком овладела им.

Левинсон никак не мог представить себе Метелицу не двигающимся и вообще не живущим. Он всегда испытывал к этому человеку смутное влечение и не раз замечал, что ему приятно бывает ехать рядом с ним, разговаривать или даже просто смотреть на него. Метелица нравился ему не за какие-либо выдающиеся общественно полезные качества, которых у него было не так уж много и которые в гораздо большей степени были свойственны самому Левинсону, а Метелица нравился ему за ту необыкновенную физическую цепкость, животную, жизненную силу, которая била в нем неиссякаемым ключом и которой самому Левинсону так не хватало. Когда он видел перед собой его быструю, всегда готовую к действию фигуру или знал, что Метелица находится где-то тут рядом, он невольно забывал о собственной физической слабости, и ему казалось, что он может быть таким же крепким и неутомимым, как Метелица. Втайне он даже гордился тем, что управляет таким человеком.

Мысль о том, что Метелица мог попасть в руки врага,— несмотря на то, что сам Левинсон все больше укреплялся в ней,— плохо прививалась людям. Каждый истомившийся партизан старательно и боязливо гнал ее от себя, как самую последнюю мысль, сулившую одни несчастья и страданья, а потому, очевидно, совершенно невозможную. Наоборот, предположение дневального, что взводный «нажрался и дрыхнет где-то в избе»,— как

ни непохоже это было на быстрого и исполнительного Метелицу,— все больше собирало сторонников. Многие открыто роптали на «подлость и несознание» Метелицы и надоедали Левинсону с требованием немедленно выступить ему навстречу. И когда Левинсон, с особой тщательностью выполнив все будничные дела, в частности переменив Мечику лошадь, отдал наконец приказ выступать,— в отряде наступило такое ликование, точно с этим приказом на самом деле кончились всякие беды и мытарства.

Они проехали час и другой, а взводный с лихим и смолистым чубом все не показывался на тропе. Они проехали еще столько же, а взводного все не было. И уже не только Левинсон, но даже самые отъявленные завистники и хулители Метелицы стали сомневаться в счастливом исходе его поездки.

К таежной опушке отряд подходил в суровом и значительном молчании.

XV. Три смерти

Метелица очнулся в большом темном сарае,— он лежал на голой сырой зёмле, и первым его ощущением было ощущение этой зябкой земляной сырости, пронизывающей тело. Он сразу вспомнил, что произошло с ним. Удары, нанесенные ему, еще шумели в голове, волосы ссохлись в крови,— он чувствовал эту запекшуюся кровь на лбу и на щеках.

Первая более или менее оформленная мысль, которая пришла ему в голову, была мысль о том — нельзя ли уйти. Метелица никак не мог поверить, что после всего, что он испытал в жизни, после всех подвигов и удач, сопутствовавших ему во всяком деле и прославивших его имя меж людей,— он будет в конце концов лежать и гнить, как всякий из этих людей. Он обшарил весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже выломать дверь — напрасные усилия!.. Он натыкался всюду на мертвое, холодное дерево, а щели были так безнадежно малы, что в них не проникал даже взгляд,— они с трудом пропускали тусклый рассвет осеннего утра.

Однако он шарил еще и еще, пока не осознал для себя с безвыходной, неумолимой точностью, что ему действительно не уйти на этот раз. И когда он окончатель-

но убедился в этом, вопрос о собственной жизни и смерти сразу перестал интересовать его. И все его душевные и физические силы сосредоточились на том — совершенно незначительном с точки зрения его собственной жизни и смерти, но ставшем для него теперь самым важным — вопросе, каким образом он, Метелица, о котором до сих пор шла только лихая и бедовая слава, сможет показать тем людям, которые станут его убивать, что он не боится и презирает их.

Он не успел еще обдумать это, как за дверями послышалась возня, заскрипел засов, и вместе с серым, дрожащим и хилым утренним светом вошли в сарай два казака с оружием и в лампасах. Метелица, расставив ноги, прищурившись, смотрел на них.

Заметив его, они в нерешительности помялись у дверей,— тот, что был позади, беспокойно зашмыгал носом.

— Пойдем, землячок,— сказал наконец передний беззлобно, даже немного виновато.

Метелица, упрямо склонив голову, вышел наружу.

Через некоторое время он стоял перед знакомым ему человеком — в черной папахе и в бурке — в той самой комнате, в которую засматривал ночью из поповского сада. Тут же, подтянувшись в кресле, удивленно, не строго поглядывая на Метелицу, сидел красивый, полный и добродушный офицер, которого Метелица принял вчера за начальника эскадрона. Теперь, рассмотрев обоих, он по каким-то неуловимым признакам понял, что начальником был как раз не этот добродушный офицер, а другой — в бурке.

— Можете идти,— отрывисто сказал этот другой, взглянув на казаков, остановившихся у дверей.

Они, неловко подталкивая друг друга, выбрались из комнаты.

— Что ты делал вчера в саду? — быстро спросил он, остановившись перед Метелицей и глядя на него своим точным, немигающим взглядом.

Метелица молча, насмешливо уставился на него, выдерживая его взгляд, чуть пошевеливая атласными черными бровями и всем своим видом показывая, что, независимо от того, какие будут задавать ему вопросы и как будут заставлять его отвечать на них, он не скажет ничего такого, что могло бы удовлетворить спрашивающих.

— Ты брось эти глупости,— снова сказал начальник, нисколько не сердясь и не повышая голоса, но таким тоном, который показывал, что он понимает все, что происходит теперь в Метелице.

— Что же говорить зря? — снисходительно улыбнулся взводный.

Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью.

— Оспой давно болел? — спросил он.

— Что? — растерялся взводный. Он растерялся потому, что в вопросе начальника не чувствовалось ни издевательства, ни насмешки, а видно было, что он просто заинтересовался его рябым лицом. Однако, поняв это, Метелица рассердился еще сильней, чем если бы насмехались и издевались над ним: вопрос начальника точно пытался установить возможность каких-то человеческих отношений между ними.

— Что ж ты — здешний или прибыл откуда?

— Брось, ваше благородие!..— решительно и гневно сказал Метелица, сжав кулаки и покраснев и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но мысль, а почему бы и в самом деле не схватить сейчас этого черного человека с таким противно спокойным, обрюзглым лицом, в неопрятной рыжеватой щетине и не задушить его,— мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, и его рябое лицо сразу вспотело.

— Ого! — в первый раз изумленно и громко воскликнул этот человек, не отступив, однако, ни шагу назад и не спуская глаз с Метелицы.

Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потряс им перед носом Метелицы. Взводный овладел собой и, отвернувшись к окну, застыл в пренебрежительном молчании. После того, сколько ни грозили ему револьвером, суля самые ужасные кары в будущем, сколько ни упрашивали правдиво рассказать обо всем, обещая полную свободу,— он не произнес ни единого слова, даже ни разу не посмотрел на спрашивающих.

В самом разгаре допроса легонько приоткрылась дверь, и чья-то волосатая голова с большими испуганными и глупыми глазами просунулась в комнату.

— Ага,— сказал начальник эскадрона.— Собрались уже? Ну что ж — скажи ребятам, чтобы взяли этого молодца.

Те же два казака пропустили Метелицу во двор и, указав ему на открытую калитку, пошли вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут позади. Они вышли на церковную площадь. Там, возле бревенчатой ктиторовой избы, толпился народ, оцепленный со всех сторон конными казаками.

Метелице казалось всегда, что он не любит и презирает людей со всей их скучной и мелочной суетой, со всем, что окружает их. Он думал, что ему решительно все равно, как они относятся к нему и что говорят о нем, он никогда не имел друзей и не старался иметь их. Но вместе с тем все самое большое и важное из того, что он делал в жизни, он, сам того не замечая, делал *ради* людей и *для* людей, чтобы они смотрели на него, гордились и восхищались им и прославляли его. И теперь, когда он вскинул голову, он вдруг не только взглядом, но всем сердцем охватил эту колеблющуюся, пеструю, тихую толпу мужиков, мальчишек, напуганных баб в поневах, девушек в белых цветных платочках, бойких верховых с чубами, таких раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на лубочной картинке,— их длинные живые тени, плясавшие по мураве, и даже древние церковные купола над ними, облитые жидким солнцем, застывшие в холодном небе.

«Вот это да!» — чуть не воскликнул он, сразу весь распахнувшись, обрадовавшись этому всему — живому, яркому и бедному, что двигалось, дышало и светило вокруг и трепетало в нем. И он быстрей и свободней пошел вперед легким, звериным, не тяготеющим к земле шагом, раскачиваясь гибким телом, и каждый человек на площади обернулся к нему и тоже почувствовал, затаив дыхание, какая звериная и легкая, как эта поступь, сила живет в его гибком и жадном теле.

Он прошел сквозь толпу, глядя поверх нее, но чувствуя ее молчаливое сосредоточенное внимание, и остановился у крыльца ктиторовой избы. Офицеры, обогнав его, взошли на крыльцо.

— Сюда, сюда,— сказал начальник эскадрона, указав ему место рядом. Метелица, разом перешагнув ступеньки, стал рядом с ним.

Теперь он был хорошо виден всем — тугой и стройный, черноволосый, в мягких оленьих улах, в расстегнутой рубахе, перетянутой шнурком с густыми зелеными кистями, выпущенными из-под фуфайки, с далеким хищным блеском своих летящих глаз, смотревших туда, где в сером утреннем дыму застыли величавые хребты.

— Кто знает этого человека? — спросил начальник, обводя всех острым, сверлящим взглядом, задерживаясь на секунду то на одном, то на другом лице.

И каждый, на ком останавливался этот взгляд, суетясь и мигая, опускал голову,— только женщины, не имея сил отвести глаза, смотрели на него немо и тупо, с труслывым и жадным любопытством.

— *Никто* не знает? — переспросил начальник, насмешливо подчеркнув слово «никто», точно ему было известно, что все, наоборот, *знают* или *должны* знать «этого человека».— Это мы сейчас выясним... Нечитайло! — крикнул он, сделав движение рукой в ту сторону, где на кауром жеребце гарцевал высокий офицер в длинной казачьей шинели.

Толпа глухо заволновалась, стоящие впереди обернулись назад,— кто-то в черной жилетке решительно проталкивался сквозь толпу, наклонив голову так, что видна была только его теплая меховая шапка.

— Пропустите, пропустите! — говорил он скороговоркой, расчищая дорогу одной рукой, а другой ведя кого-то вслед.

Наконец он пробрался к самому крыльцу, и обнаружилось, что ведет он худенького черноголового парнишку в длинном пиджаке, боязливо упиравшегося и таращившего черные глаза то на Метелицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволновалась громче, послышались вздохи и сдержанный бабий говорок. Метелица посмотрел вниз и вдруг признал в черноголовом парнишке того самого пастушонка — с напуганными глазами, с тонкой, смешной и детской шеей,— которому он оставил вчера свою лошадь.

Мужик, державший его за руку, снял шапку, обнаружив приплюснутую русую голову с пятнистой проседью (точно его неровно посолили), и, поклонившись начальнику, начал было:

— Вот тут пастушок у меня...

Но, видимо, испугавшись, что не дослушают его, он

наклонился к парнишке и, указав пальцем на Метелицу, спросил:

— Этот, что ли?

В течение нескольких секунд пастушонок и Метелица смотрели прямо в глаза друг другу: Метелица — с деланным равнодушием, пастушонок — со страхом, сочувствием и жалостью. Потом парнишка перевел взгляд на начальника эскадрона, задержался на нем, на мгновенье точно одеревенев, потом — на мужика, державшего его за руку и выжидательно наклонившегося к нему,— вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал головой... Толпа, притихшая настолько, что слышно было, как возится теленок в клети у церковного старосты, чуть колыхнулась и снова замерла...

— Да ты не бойся, дурачок, не бойся,— с ласковой дрожью убеждал мужик, сам оробев и засуетившись, быстро тыча пальцем в Метелицу.— Кто же тогда, как не он?.. Да ты признай, признай, не бо... а-а, гад!..— со злобой оборвал он вдруг и изо всей силы дернул парнишку за руку.— Да он, ваше благородие, кому ж другому быть,— заговорил он громко, точно оправдываясь, и униженно суча шапкой.— Только боится парень, а кому же другому, когда в седле конь-то и кобура в сумке... Наехал вечор на огонек. «Попаси, говорит, коня моего»,— а сам в деревню; а парнишка-то не дождал,— светло уж стало — не дождал, да и пригнал коня, а конь в седле, и кобура в сумке,— кому ж другому быть?..

— Кто наехал? Какая кобура? — спросил начальник, тщетно пытаясь понять, о чем идет речь. Мужик еще растерянней засучил шапкой и, вновь сбиваясь и путаясь, рассказал о том, как его пастух пригнал утром чужого коня — в седле и с револьверной кобурой в сумке.

— Вот оно что,— протянул начальник эскадрона.— Так ведь он не признает? — сказал он, кивнув на парнишку.— Впрочем, давай его сюда — мы его допросим по-своему...

Парнишка, подталкиваемый сзади, приблизился к крыльцу, не решаясь, однако, взойти на него. Офицер сбежал по ступенькам, схватил его за худые, вздрагивающие плечи и, притянув к себе, уставился в его круглые от ужаса глаза своими — пронзительными и страшными...

— А-а.., а!..— вдруг завопил парнишка, закатив белки.

— Да что ж это будет? — вздохнула, не выдержав, какая-то из баб.

В то же мгновенье чье-то стремительное и гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем,— начальник эскадрона упал, сбитый сильным толчком...

— Стреляйте в него!.. Да что же это такое? — закричал красивый офицер, беспомощно выставив ладонь, теряясь и глупея и забыв, как видно, что он сам умеет стрелять.

Несколько верховых ринулись в толпу, конями раскидывая людей. Метелица, навалившись на врага всем телом, старался схватить его за горло, но тот извивался, как нетопырь, раскинув бурку, похожую на черные крылья, и судорожно цеплялся рукой за пояс, стараясь вытащить револьвер. Наконец ему удалось отстегнуть кобуру, и почти в то же мгновенье, как Метелица схватил его за горло, он выстрелил в него несколько раз подряд...

Когда подоспевшие казаки тащили Метелицу за ноги, он еще цеплялся за траву, скрипел зубами, стараясь поднять голову, но она бессильно падала и волочилась по земле.

— Нечитайло! — кричал красивый офицер.— Собрать эскадрон!.. Вы тоже поедете? — учтиво спросил он начальника, избегая, однако, смотреть на него.

— Да.

— Лошадь командиру!..

Через полчаса казачий эскадрон в полном боевом снаряжении выехал из села и помчался кверху, по той дороге, по которой прошлой ночью ехал Метелица.

Бакланов, вместе со всеми испытывавший сильное беспокойство, наконец не выдержал.

— Слушай, дай я вперед поеду,— сказал он Левинсону.— Ведь черт его знает, на самом деле...

Он пришпорил коня и, скорее даже, чем ожидал, выехал на опушку, к заросшему омшанику. Ему не понадобилось, однако, влезать на крышу,— не дальше как в полуверсте спускалось с бугра человек пятьдесят конных. Он разглядел, что это были регулярники — по их одинаковому обмундированию в желтых пятнах. Умерив свое нетерпение — скорей вернуться и предупредить об опасности (Левинсон мог вот-вот нагрянуть), Бакланов

задержался, спрятавшись в кусты, желая проверить, не покажутся ли из-за бугра новые отряды. Никто не появился больше; эскадрон ехал шагом, расстроив ряды; судя по сбитой посадке людей и по тому, как мотали головами разыгравшиеся лошади, эскадрон только что шел на рысях.

Бакланов повернулся обратно и чуть не налетел на Левинсона, выезжавшего на опушку. Он сделал знак остановиться.

— Много? — спросил Левинсон, выслушав его.

— Человек пятьдесят.

— Пехота?

— Нет, конные...

— Кубрак, Дубов, спешиться! — тихо скомандовал Левинсон.— Кубрак — на правый фланг, Дубов — на левый... Я тебе дам!..— зашипел он вдруг, заметив, как какой-то партизан с подвязанной щекой повернул в сторону, заманивая и других.— На место! — И он погрозил ему плеткой.

Передав Бакланову командование взводом Метелицы и приказав ему остаться здесь, он спешился сам и пошел впереди цепи, чуть ковыляя и размахивая маузером.

Не выходя из кустов, он положил цепь, а сам в сопровождении одного партизана пробрался к омшанику. Эскадрон был совсем близко. По желтым околышам и лампасам Левинсон узнал, что это были казаки. Он разглядел и командира в черной бурке.

— Скажи, пусть сюда ползут,— шепнул он партизану,— только пусть не встают, а то... Ну, чего смотришь? Живо!..— И он подтолкнул его, нахмурив брови.

Хоть казаков было мало, Левинсон почувствовал вдруг сильное волнение, как в первый, давнишний период его военной деятельности.

В своей боевой жизни он различал два периода, не разделенных резкой чертой, но отличных для него по тем ощущениям, которые он сам в них испытывал.

В первое время, когда он, не имея никакой военной подготовки, даже не умея стрелять, вынужден был командовать массами людей, он чувствовал, что он не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. Не потому, что он нечестно выполнял свой долг,— нет, он старался дать

самое большее из того, что мог,— и не потому, что он думал, будто отдельному человеку не дано влиять на события, в которых участвуют *массы* людей,— нет, он считал такой взгляд худшим проявлением людского лицемерия, прикрывающим собственную слабость таких людей, то есть отсутствие в них воли к действию,— а потому, что в этот первый, недолгий период его военной деятельности почти все его душевные силы уходили на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей страх за себя, который он невольно испытывал в бою.

Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг такого положения, когда боязнь за собственную жизнь перестала мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот второй период он получил возможность *управлять* событиями — тем полней и успешней, чем ясней и правильней он мог прощупать их действительный ход и соотношение сил и людей в них.

Но теперь он вновь испытывал сильное волнение, и он чувствовал, что это как-то связано с *новым* его состоянием, со всеми его мыслями о себе, о смерти Метелицы.

Пока подползала цепь, раскинувшаяся по кустам, он все же овладел собою, и его маленькая собранная фигурка, с уверенными и точными движениями, по-прежнему предстала перед людьми как олицетворение некоего безошибочного плана, в который люди верили по привычке и по внутренней необходимости.

Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский топот и сдержанный говор всадников,— можно было различить даже отдельные лица. Левинсон видел их выражения — особенно у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего вперед с трубкой в зубах и очень плохо державшегося в седле.

«Вот зверь, должно быть,— подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом и невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписываются врагу.— Но как бьется у меня сердце!.. Или стрелять уже? стрелять?.. Нет, возле той березы с ободранной корой... Но почему он так плохо держится?.. Ведь так же нело...»

— Взво-о-од! — закричал он вдруг тонким протяжным голосом (как раз в это мгновение эскадрон поравнялся с березой с ободранной корой).— Пли!..

Красивый офицер, услыхав первые звуки его голоса, удивленно поднял голову. Но в ту же секунду фуражка слетела с его головы, и лицо приняло невероятно испуганное и беспомощное выражение.

— Пли!..— снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, стараясь попасть в красивого офицера.

Эскадрон смешался; многие попадали на землю, но красивый офицер остался в седле, лошадь, оскаля зубы, пятилась под ним. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Потом из этой сумятицы вырвался отдельный всадник, в черной папахе и в бурке, и заплясал перед эскадроном, сдерживая лошадь напряженным жестом, размахивая шашкой. Остальные, как видно, плохо повиновались ему,— некоторые уже мчались прочь, нахлестывая лошадей; весь эскадрон ринулся за ними. Партизаны повскакали с мест,— наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу.

— Лошадей!..— кричал Левинсон.— Бакланов, сюда!.. По коням!..

Бакланов со свирепым, перекошенным лицом пронесся мимо, вытянувшись всем телом, откинув понизу руку с шашкой, блестевшей, как слюда,— за ним с лязгом и гиком мчался взвод Метелицы, ощерившись оружием.

Вскоре весь отряд поскакал за ними.

Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял всегда присущее ему свойство отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны,— он только видел перед собою чью-то знакомую спину с чубатой головой, чувствовал, что Нивка не отстает от нее, что враг бежит от них, и вместе со всеми на совесть старался догнать врага и не отстать от знакомой спины.

Казачий эскадрон скрылся в березовой роще. Через некоторое время оттуда посыпались частые ружейные выстрелы, но отряд продолжал скакать, не только не замедляя хода, а еще больше горячась и возбуждаясь от выстрелов.

Вдруг мохнатый жеребец, мчавшийся впереди Мечика, ткнулся мордой в землю, и знакомая спина, с чубатой головой, полетела вперед, вытянув руки. Мечик

вместе с другими обогнул что-то большое и черное, копошившееся на земле.

Не видя больше знакомой спины, он впился глазами в рощу, стремительно надвигавшуюся на него... Маленькая бородатая фигурка на вороном жеребце, что-то кричавшая и указывавшая шашкой, на одно мгновение мелькнула перед глазами... Несколько всадников, скакавших рядом, вдруг свернули влево, но Мечик, не сообразив, в чем дело, мчался в прежнем направлении, пока не влетел в рощу и чуть не разбился о стволы, расцарапав себе лицо о голые ветви. Он едва удержал Нивку, рвавшуюся, обезумев, через кусты.

Он был один — в мягкой березовой тиши, в золоте листьев и трав...

В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно, не обращая внимания, как острые колючие ветви хлещут его по лицу...

Когда он снова выехал на поле, отряда не было. Шагах в двухстах от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, подогнув ноги, безнадежно обхватив руками колени, прижатые к груди, не шевелясь, сидел человек. Это был Морозка.

Мечик, устыдясь своего страха, шагом подъехал к нему.

Мишка лежал на боку, оскалив зубы, выкатив большие остекленевшие глаза, согнув передние ноги с острыми копытами, точно он и мертвый собирался скакать. Морозка смотрел мимо него блестящими, сухими невидящими глазами.

— Морозка...— тихо позвал Мечик, остановившись против него и переполняясь вдруг слезливой доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади.

Морозка не шевельнулся. Несколько минут они оставались так, не говоря ни слова, не меняя положений. Потом Морозка вздохнул, медленно разжал руки, встал на колени и, по-прежнему не глядя на Мечика, начал отстегивать седло. Мечик, не решаясь больше заговорить, молча наблюдал за ним.

Морозка распустил подпруги — одна из них была разорвана,— он внимательно осмотрел оторванный, выпачканный в крови ремешок, повертел в руке и выбросил его. Потом, кряхтя, взвалил на спину седло и пошел по

направлению к роще, согнувшись и неловко ступая кривыми ногами.

— Давай я отвезу, или, хочешь, садись сам — я пешком пойду! — крикнул Мечик.

Морозка не оглянулся, только еще ниже склонился под тяжестью седла.

Мечик, стараясь больше не попасться ему на глаза, сделал крюк влево и, когда обогнул рощу, увидел неподалеку село, раскинувшееся поперек долины. В просторной низине, справа от него — до самого хребта, отвернувшего в сторону и затерявшегося в серой дали,— виднелся лес. Небо — такое чистое с утра — теперь висело низкое и невеселое,— солнце едва проступало.

Шагах в пятидесяти лежало несколько зарубленных казаков. Один был еще жив,— он с трудом приподнимался на руках и снова падал и стонал. Мечик далеко объехал его, стараясь не слышать его стонов. Из деревни навстречу ему ехало несколько конных партизан.

— У Морозки коня убили...— сказал Мечик, когда они поравнялись с ним.

Никто не ответил ему. Один окинул его подозрительным взглядом, словно хотел спросить: «А ты где был, когда мы тут бились?» Мечик, осунувшись, поехал дальше. Он был полон самых недобрых предчувствий...

Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам,— остальные толпились возле большой пятистенной избы с высокими резными окнами. Левинсон, стоя на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавал приказания. Мечик спешился возле забора, где стояли лошади.

— Откуда бог принес? — насмешливо спросил отделенный.— По грибы ходил, что ли?

— Нет, я отбился,— сказал Мечик. Ему было все равно теперь, что о нем подумают, но по привычке он оправдывался.— Я в рощу попал, вы, кажется, там влево свернули?

— Влево, влево! — радостно подтвердил один белобрысый партизанчик, с наивными ямочками и петушиным задорным хохолком на макушке.— Я кричал тебе, да ты не слышал, видать...— И он восторженно посмотрел на Мечика, как видно, с удовольствием вспоминая все подробности дела. Мечик, привязав лошадь, сел рядом с ним.

Из переулка вышел Кубрак в сопровождении толпы мужиков,— они вели двоих со скрученными назад руками. Один был в черной жилетке и с несуразной, точно приплюснутой головой в неровной проседи,— он сильно трясся и просил. Другой — тщедушный попик в растерзанной ряске, сквозь которую виднелись измятые штанишки. Мечик заметил, что к поясу Кубрака прицеплена серебряная цепочка — как видно, от креста.

— Этот, да? — бледнея, спросил Левинсон, указав пальцем на человека в жилетке, когда они подошли к крыльцу.

— Он... он самый! — загудели мужики.

— И ведь такая мразь,— сказал Левинсон, обращаясь к Сташинскому, сидевшему рядом на перилах,— а Метелицы уже не воскресишь...— Он вдруг часто замигал и отвернулся и несколько секунд молча смотрел вдаль, стараясь отвлечься от воспоминаний о Метелице.

— Товарищи! милые!..— плакал арестованный, глядя то на мужиков, то на Левинсона собачьими, преданными глазами.— Да неужто ж я по охоте?.. Господи... Товарищи, милые...

Никто не слушал его. Мужики отворачивались.

— Чего уж там, всем сходом видели, как ты пастушонка неволил,— сурово сказал один, окинув его безразличным взглядом.

— Сам виноват...— подтвердил другой и, смутившись, спрятал голову.

— Расстрелять его,— холодно сказал Левинсон.— Только отведите подальше.

— А с попом как? — спросил Кубрак.— Тоже — сука... Офицерей годувал.

— Отпустите его,— ну его к черту!

Толпа, к которой присоединились и многие партизаны, хлынула вслед за Кубраком, потащившим человека в жилетке. Тот упирался, сучил ногами и плакал, вздрагивая нижней челюстью.

Чиж в фуражке, испачканной чем-то нехорошим, но с нескрываемым победоносным видом, подошел к Мечику.

— Вот ты где! — сказал обрадованно и гордо.— Эк тебя разукрасило! Пойдем пожрать куда-нибудь... Теперь они его разделают...— протянул он многозначительно и свистнул.

В избе, куда их пустили пообедать, было сорно и душно, пахло хлебом и шинкованной капустой. Весь угол у печки был завален грязными капустными кочанами. Чиж, давясь хлебом и щами, без умолку рассказывал о своих доблестях и то и дело поглядывал из-под бровей на тоненькую девушку с длинными косами, подававшую им. Она смущалась и радовалась. Мечик старался слушать Чижа, но все время настораживался и вздрагивал от каждого стука.

— ...Вдруг он как обернется — да на меня...— верещал Чиж, давясь и чавкая,— тут я его рраз!..

В это время звякнули стекла и послышался отдаленный залп. Мечик, вздрогнув, уронил ложку и побледнел.

— Да когда же все это кончится!..— воскликнул он в отчаянии и, закрыв лицо руками, вышел из избы.

«...Они убили его, этого человека в жилетке,— думал он, уткнувшись лицом в воротник шинели, лежа где-то в кустах,— он даже не помнил, как забрался сюда.— Они убьют и меня рано или поздно... Но я и так не живу — я точно умер: я не увижу больше родных мне людей и этой милой девочки со светлыми кудрями, портрет которой я изорвал на мелкие клочки... А он, наверно, плакал, бедный человек в жилетке. Боже, зачем я изорвал ее? И неужели я никогда не вернусь к ней? Как я несчастен!..»

Уже вечерело, когда он вышел из кустов с сухими глазами, с выражением страдания на лице. Где-то совсем рядом разливались пьяные голоса, играла гармонь. Он встретил у ворот тоненькую девушку с длинными косами,— она несла воду на коромысле, изогнувшись, как лозинка.

— Ох, и гуляет ваш один с хлопцами с нашими,— сказала она, подняв темные ресницы, и улыбнулась.— Он як... чуете? — И в такт разухабистой музыке, летевшей из-за угла, она покачала своей милой головкой. Ведра тоже качнулись, сплеснув воду,— девушка застыдилась и юркнула в калитку.

А мы сами, каторжане,
Того да-жидалися-а...—

разливался чей-то пьяный и очень знакомый Мечику голос. Мечик выглянул за угол и увидел Морозку с гар-

моньей и с растрепавшимся чубом, свисавшим ему на глаза, прилипавшим к его красному, потному лицу.

Морозка шел посреди улицы с циничным развальцем, выставив вперед и растягивая гармонь с таким — «от всей души» выражением, точно он похабничал и тут же каялся; за ним шла орава таких же пьяных парней, без поясов и шапок. По бокам, крича и вздымая клубы пыли, бежали босоногие мальчишки, безжалостные и резвые, как чертенята.

— А-а... Друг мой любезный! — в пьяном лицемерном восторге закричал Морозка, увидев Мечика.— Куда же ты? Куда? Не бойся — бить не будем... Выпей с нами... Ах, душа с тебя вон — вместях пропадать будем!

Они всей толпой окружили Мечика, обнимая его, склоняли к нему свои добрые пьяные лица, обдавая его винным перегаром, кто-то совал ему в руку бутылку и надкушенный огурец.

— Нет, нет, я не пью,— говорил Мечик, вырываясь,— я не хочу пить...

— Пей, душа с тебя вон! — кричал Морозка, чуть не плача от веселого исступления. Ах, панихида... в кровь... в три-господа. Вместях пропадать!

— Только немножко, пожалуйста, ведь я не пью,— сказал Мечик, сдаваясь.

Он сделал несколько глотков. Морозка, расплеснув гармонь, запел хрипловатым голосом, парни подхватили.

— Пойдем с нами,— сказал один, взяв Мечика под руку.— «А я жи-ву ту-ута...» — прогнусил он какую-то наугад выхваченную строчку и прижался к Мечику небритой щекой.

И они пошли вдоль по улице, шутя и спотыкаясь, распугивая собак, проклиная до самых небес, нависших над ними беззвездным темнеющим куполом, себя, своих родных, близких, эту неверную, трудную землю.

XVI. Трясина

Варя, не участвовавшая в атаке (она оставалась в тайге с хозяйственной частью), приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. Она заметила, что захват квартир произошел беспорядочно, сам собой: взводы перемешались, никто не знал, где кто находится, коман-

диров не слушались,— отряд распался на отдельные, не зависящие одна от другой части.

Ей попался по дороге к селу труп убитого Морозкиного коня; но никто не мог ей сказать определенного, что случилось с Морозкой. Одни говорили, что он убит,— они видели это собственными глазами; другие — что он только ранен; третьи, ничего не зная о Морозке, с первых же слов начинали радоваться тому счастливому обстоятельству, что сами остались в живых. И все это, вместе взятое, только усиливало то состояние упадка и безнадежного уныния, в котором Варя находилась со времени ее неудачной попытки примириться с Мечиком.

Намучившись и натерпевшись от бесконечных приставаний, от голода, от собственных дум и терзаний, не имея больше сил держаться на седле, чуть не плача, она отыскала наконец Дубова — первого человека, действительно обрадовавшегося и улыбнувшегося ей суровой сочувственной улыбкой.

И когда она увидела его постаревшее, нахмуренное лицо с грязными и черными, опущенными книзу усами и все остальные окружавшие ее знакомые, милые, грубые лица, тоже посеревшие, искрапленные навек угольной пылью,— сердце у нее дрогнуло от сладкой и горестной тоски, любви к ним, жалости к себе: они напомнили ей те молодые дни, когда она красивой и наивной девчонкой, с пышными косами, с большими и грустными глазами, катала вагонетки по темным слезящимся штрекам и танцевала на вечеринках, и они так же окружали ее тогда, эти лица, такие смешные и хотящие.

С того времени, как она поссорилась с Морозкой, она как-то совсем оторвалась от них, а между тем это были единственные близкие ей люди, шахтеры-коренники, которые когда-то жили и работали рядом и ухаживали за ней. «Как давно я их не видала, я вовсе о них забыла... Ах, милые мои дружки!..» — подумала она с любовью и раскаянием, и у нее так сладко заломило в висках, что она едва удержалась от слез.

Только одному Дубову удалось на этот раз разместить взвод в порядке по соседним избам. Его люди несли караул за селом, помогали Левинсону запасать продовольствие. В этот день как-то сразу выяснилось то, что скрыто было раньше в общем подъеме, в равных для

всех буднях,— что весь отряд держится главным образом на взводе Дубова.

Варя узнала от ребят, что Морозка жив и даже не ранен. Ей показали его нового коня, отбитого у белых. Это был гнедой высокий тонконогий жеребец с коротко подстриженной гривой и тонкой шеей, отчего у него был очень неверный, предательский вид,— его уже окрестили «Иудой».

«Значит, он жив...— думала Варя, рассеянно глядя на жеребца.— Что ж, я рада...»

После обеда, когда она, забравшись на сеновал, лежала одна в душистом сене, прислушиваясь сквозь сон, не лезет ли к ней кто-нибудь «по старой дружбе»,— она вновь с мягким сонным и теплым чувством вспомнила, что Морозка жив, и уснула с этой же мыслью.

Проснулась она внезапно — в сильной тревоге, с оледеневшими руками. Ночь, сплошная, движущаяся во тьме, глядела под крышу. Холодный ветер шевелил сено, стучал ветвями, шелестел листьями в саду...

«Боже мой, где же Морозка? где все остальные? — с трепетом подумала Варя.— Неужто я опять осталась одна, как былинка,— здесь, в этой черной яме?..» Она с лихорадочной быстротой и дрожью, не попадая в рукава, надела шинель и быстро спустилась с сеновала.

Около ворот маячил силуэт дневального.

— Это кто дневалит? — спросила она, подходя ближе.— Костя?.. Морозка вернулся, не знаешь?

— Выходит, ты на сеновале спала? — сказал Костя с досадой и разочарованием.— Вот не знал! Морозку не жди — загулял в дым: по коню поминки справляет... Холодно, да? Дай спичку...

Она отыскала коробок,— он закурил, прикрыв огонь большими ладонями, потом осветил ее:

— А ты сдала, молоденькая...— и улыбнулся.

— Возьми их себе...— Она подняла воротник и вышла за ворота.

— Куда ты?

— Пойду искать его!

— Морозку?.. Здорово!.. Может, я его заменю?

— Нет, навряд ли...

— Это с каких же таких пор?

Она не ответила. «Ну — свойская девка»,— подумал дневальный.

Было так темно, что Варя с трудом различала дорогу. Начал накрапывать дождик. Сады шумели все тревожней и глуше. Где-то под забором жалобно скулил продрогший щенок. Варя ощупью отыскала его и сунула за пазуху, под шинель,— он сильно дрожал и тыкался мордой. У одной из хат ей попался дневальный Кубрака,— она спросила, не знает ли он, где гуляет Морозка. Дневальный направил ее к церкви. Она исходила полдеревни без всякого результата и, расстроившись вконец, повернула обратно.

Она так часто сворачивала из одного переулка в другой, что забыла дорогу, и теперь шла наугад, почти не думая о цели своих странствований; только крепче прижимала к груди потеплевшего щенка. Прошло, наверное, не меньше часа, пока она попала на улицу, ведущую к дому. Она свернула в нее, хватаясь свободной рукой за плетень, чтобы не поскользнуться, и, сделав несколько шагов, чуть не наступила на Морозку.

Он лежал на животе, головой к плетню, подложив под голову руки, и чуть слышно стонал,—как видно, его только что рвало. Варя не столько узнала его, сколько почувствовала, что это он,— не в первый раз она заставала его в таком положении.

— Ваня! — позвала она, присев на корточки и положив ему на плечо свою мягкую и добрую ладонь.— Ты чего тут лежишь? Плохо тебе, да?

Он приподнял голову, и она увидела его измученное, опухшее, бледное лицо. Ей стало жаль его — он казался таким слабым и маленьким. Узнав ее, он криво улыбнулся и, тщательно следя за исправностью своих движений, сел, прислонился к плетню и вытянул ноги.

— А-а... это вы?.. М-мое вам почтение...— пролепетал он ослабевшим голосом, пытаясь, однако, перейти на тон развязного благополучия.— М-мое вам...

— Пойдем со мной, Ваня.— Она взяла его за руку.— Или ты, может, не в силах?.. Обожди — сейчас все устроим, я достучусь...— И она решительно вскочила, намереваясь попроситься в соседнюю избу. Она ни секунды не колебалась в том, удобно ли темной ночью стучаться к незнакомым людям и что могут подумать о ней самой, если она ввалится в избу с пьяным мужчиной,— она никогда не обращала внимания на такие вещи.

Но Морозка вдруг испуганно замотал головой и захрипел:

— Ни-ни-ни... Я тебе достучусь!.. Тише!..— И он потряс сжатыми кулаками у своих висков. Ей показалось даже, что он протрезвел от испуга.— Тут Гончаренко стоит, разве н-неизвестно?.. Да как же м-можно...

— Ну и что ж, что Гончаренко? Подумаешь — барин...

— Н-нет, ты не знаешь,— он болезненно сморщился и схватился за голову,— ты же не знаешь — зачем же?.. Ведь он меня за человека, а я... ну, как же?.. Не-ет, разве можно...

— И что ты мелешь без толку, миленький ты мой,— сказала она, снова опустившись на корточки рядом с ним.— Смотри — дождик идет, сыро, завтра в поход идти,— пойдем, миленький...

— Нет, я пропал,— сказал он как-то уж совсем грустно и трезво.— Ну, что я теперь, кто я, зачем,— подумайте, люди?.. — И он вдруг жалобно повел вокруг своими опухшими, полными слез глазами.

Тогда она обняла его свободной рукой и, почти касаясь губами его ресниц, зашептала ему нежно и покровительственно, как ребенку:

— Ну, что ты горюешь? И чем тебе может быть плохо?.. Коня жалко, да? Так там уж другого припасли,— такой добрый коник... Ну, не горюй, милый, не плачь,— гляди, какую я собачку нашла, гляди, какой кутенок! — И она, отвернув ворот шинели, показала ему сонного вислоухого щенка. Она была так растрогана, что не только ее голос, но вся она точно журчала и ворковала от доброты.

— У-у, цуцик! — сказал Морозка с пьяной нежностью и облапил его за уши.— Где ты его? К-кусается, стерва...

— Ну, вот видишь!.. Пойдем, миленький...

Ей удалось поднять его на ноги, и так, увещевая его и отвлекая от дурных мыслей, она повела его к дому, и он уже не сопротивлялся, а верил ей.

За всю дорогу он ни разу не напомнил ей о Мечике, и она тоже не заикнулась о нем, как будто и не было между ними никакого Мечика. Потом Морозка нахохлился и вовсе замолчал; он заметно трезвел.

Так дошли они до той избы, где стоял Дубов.

Морозка, вцепившись в перекладники лестницы, пытался влезть на сеновал, но ноги не слушались его.

— Может, подсобить? — спросила Варя.

— Нет, я сам, дура! — ответил он грубо и сконфуженно.

— Ну, прощай тогда...

Он отпустил лестницу и испуганно посмотрел на нее:

— Как «прощай»?

— Да уж как-нибудь.— Она засмеялась деланно и грустно.

Он вдруг шагнул к ней и, неловко обняв ее, прижался к ее лицу своей неумелой щекой. Она почувствовала, что ему хочется поцеловать ее, и ему действительно хотелось, но он постыдился, потому что парни на руднике редко ласкали девушек, а только сходились с ними; за всю совместную жизнь он поцеловал ее только один раз — в день их свадьбы,— когда был сильно пьян и соседи кричали «горько».

«...Вот и конец, и все обернулось по-старому, будто и не было ничего,— думала Варя с грустным, тоскливым чувством, когда насытившийся Морозка заснул, прикорнув возле ее плеча.— Снова по старой тропке, одну и ту же лямку — и все к одному месту... Но боже ж мой, как мало в том радости!»

Она повернулась спиной к Морозке, закрыв глаза и поджав по-сиротски ноги, но ей так и не удалось заснуть... Далеко за селом, с той стороны, где начинался Хаунихедзский волостной тракт и где стояли часовые,— раздались три сигнальных выстрела... Варя разбудила Морозку,— и только он поднял свою кудлатую голову, снова ухнули за селом караульные берданы, и тотчас же в ответ им, прорезая ночную темь и тишь, полилась завыла, затакала волчья пулеметная дробь...

Морозка сумрачно махнул рукой и вслед за Варей полез с сеновала. Дождя уж не было, но ветер покрепчал; где-то хлопала ставня, и мокрый желтый лист вился во тьме. В хатах зажигали огни. Дневальный, крича, бегал по улице и стучал в окошки.

В течение нескольких минут, пока Морозка добрался до пуни и вывел своего Иуду, он вновь перечувствовал все, что произошло с ним вчера. Сердце у него сжалось, когда он представил себе убитого Мишку с остекленевшими глазами и вспомнил вдруг с омерзением и стра-

хом все свое вчерашнее недостойное поведение: он, пьяный, ходил по улицам, и все видели его, пьяного партизана, он орал на все село похабные песни. С ним был Мечик, его враг,— они гуляли запанибрата, и он, Морозка, клялся ему в любви и просил у него прощения — в чем? за что?.. Он чувствовал теперь всю нестерпимую фальшь этих своих поступков. Что скажет Левинсон? И разве можно, на самом деле, показаться на глаза Гончаренке после такого дебоша?

Большинство его товарищей уже седлали коней и выводили их за ворота, а у него все было неисправно: седло — без подпруги, винтовка осталась в избе Гончаренки.

— Тимофей, друг, выручи!..— жалобным, чуть не плачущим голосом взмолился он, завидев Дубова, бежавшего по двору.— Дай мне запасную подпругу — у тебя есть, я видал...

— Что?! — заревел Дубов.— А где ты раньше был?! — Бешено ругаясь и расталкивая лошадей, так что они взнялись на дыбы, он полез к своему коню за подпругой.— На!..— гневно сказал он, через некоторое время подходя к Морозке, и вдруг из всей силы вытянул его подпругой по спине.

«Конечно, теперь он может бить меня, я того заслужил»,— подумал Морозка и даже не огрызнулся — он не почувствовал боли. Но мир стал для него еще мрачнее. И эти выстрелы, что трещали во тьме, эта темь, судьба, что поджидала его за околицей,— казались ему справедливой карой за все, что он совершил в жизни.

Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полукругом до самой реки, загудели бомбометы, и дребезжащие сверкающие рыбы взвились над селом. Бакланов, в перетянутой шинели, с револьвером в руке, подбежал к воротам,— кричал:

— Спешиться!.. Построиться в одну шеренгу!.. Человек двадцать оставишь при конях,— сказал он Дубову.

— За мной! Бегом!..— крикнул он через несколько минут и ринулся куда-то во тьму; за ним, на ходу запахивая шинели, расстегивая патронташи, побежала цепь.

Дорогой им встретились убегающие часовые.

— Их там несметная сила! — кричали они, панически размахивая руками.

Грохнул орудийный залп; снаряды взорвались в центре села, осветив на миг кусочек неба, покривившуюся колокольню, поповский сад, блистающий в росе. Потом небо стало еще темнее. Снаряды рвались теперь один за другим, с короткими равными промежутками. Где-то на краю занялось полымя — загорелся стог или изба.

Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. Но Бакланову не удалось даже подвести взвод к поскотине: он увидал при вспышках бомб бегущие к нему навстречу неприятельские цепи. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга, от реки, и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца.

Взвод начал отстреливаться, отступая наискось в правый угол, перебегая звеньями, лавируя по переулкам, садам и огородам. Бакланов прислушивался к перепалке возле реки,— она передвигалась к центру,— как видно, тот край был теперь занят неприятелем. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница, видно было, как стремительно лилась по улице темная, грохочущая многоголовая лава людей и лошадей.

Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек десять, побежал по незанятому клину по направлению к лесу. И почти у самого спуска в ложбину, где тянулся последний ряд изб, они натолкнулись на отряд во главе с Левинсоном, поджидавшим их. Отряд заметно поредел.

— Вот они,— облегченно сказал Левинсон.— Скорей по коням!

Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, черневшему в низине. Очевидно, их заметили — пулеметы затрещали вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели. Огненно-дребезжащие рыбы вновь затрепетали в небе. Они ныряли с высоты, распустив блистательные хвосты, и с громким шипеньем вонзались в землю у лошадиных ног. Лошади шарахались, вздымая кровавые жаркие пасти и крича, как женщины,— отряд смыкался, оставив позади копошащиеся тела.

Оглядываясь назад, Левинсон видел громадное зарево, полыхавшее над селом,— горел целый квартал,— на фоне этого зарева метались одиночками и группами черные огненноликие фигурки людей.

Сташинский, скакавший рядом, вдруг опрокинулся с лошади и несколько секунд продолжал волочиться за ней, зацепившись ногой за стремя, потом он упал, а лошадь понеслась дальше, и весь отряд обогнул это место, не решаясь топтать мертвое тело.

— Левинсон, смотри! — возбужденно крикнул Бакланов и показал рукой вправо.

Отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу, а сверху, пересекая линию черного поля и неба, мчалась ему наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие черные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали во тьме, перевалив сюда, в низину.

— Скорей!.. Скорей!..— кричал Левинсон, беспрерывно оглядываясь и пришпоривая жеребца.

Наконец они достигли опушки и спешились. Бакланов со взводом Дубова опять остался прикрывать отступление, а остальные ринулись в глубь леса, ведя под уздцы лошадей.

В лесу было спокойней и глуше: стрекот пулеметов, ружейная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались уже чем-то посторонним, они точно не задевали лесной тишины. Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, с грохотом ложатся снаряды. В иных местах зарево, прорвавшись в чащу, бросало на землю и на древесные стволы сумрачные, медные, темнеющие по краям блики, и виден был окутывающий стволы сырой, точно окровавленный мох.

Левинсон передал свою лошадь Ефимке и пропустил вперед Кубрака, указав ему, в каком направлении идти (он выбрал это направление только потому, что обязан был дать отряду какое-то направление), а сам стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей.

Они проходили мимо него, эти люди,— придавленные, мокрые и злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту; под ногами у них хлюпала

вода. Иногда лошади проваливались по брюхо — почва была очень вязкая.

Особенно трудно приходилось поводырям из взвода Дубова,— они вели по три лошади, только Варя вела две — свою и Морозкину. А за всей этой вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, вонючий извивающийся след, точно тут проползло какое-то смрадное, нечистое пресмыкающееся.

Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился...

— Что там случилось? — спросил он.

— Не знаю,— ответил партизан, шедший перед ним. Это был Мечик.

— А ты узнай по цепи...

Через некоторое время вернулся ответ, повторенный десятками побелевших трепетных уст:

— Дальше идти некуда, трясина...

Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал к Кубраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей отхлынула назад и заметалась во все стороны, но везде, преграждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото. Только один путь вел отсюда — это был пройденный ими путь туда, где мужественно бился шахтерский взвод. Но стрельба, доносившаяся с опушки леса, уже не казалась чем-то посторонним, она имела теперь самое непосредственное отношение к ним, теперь она как будто даже приближалась к ним, эта стрельба.

Людьми овладели отчаяние и гнев. Они искали виновника своего несчастья,— конечно же, это был Левинсон!.. Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха,— пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести!..

И вдруг он действительно появился среди них, в самом центре людского месива, подняв в руке зажженный факел, освещавший его мертвенно-бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими горящими круглыми глазами, которыми он быстро перебегал с одного лица на другое. И в наступившей тишине, в которую врывались только звуки смертельной игры, разыгравшейся *там*, на опушке леса,— его нервный, тонкий, резкий, охрипший голос прозвучал слышно для всех:

— Кто там расстраивает ряды?.. Назад!.. Только девчонкам можно впадать в панику... Молчать!..— взвизгнул он вдруг, по-волчьи щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы мгновенно застыли на губах.— Слушать мою команду! Мы будем *гатить* болото — другого выхода нет у нас... Борисов (это был новый командир 3-го взвода), оставь поводырей и иди на подмогу Баклanову! Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам приказа отступать... Кубрак! Выделить трех человек для связи с Баклановым... Слушайте все! Привяжите лошадей! Два отделения — за лозняком! Не жалеть шашек... Все остальные — в распоряжение Кубрака. Слушать его беспрекословно. Кубрак, за мной!..— Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, пошел к трясине, держа над головой дымящее смолье.

И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии вздымавшая руки, готовая убивать и плакать, вдруг пришла в нечеловечески быстрое, послушное яростное движение. В несколько мгновений лошади были привязаны, стукнули топоры, затрещал ольховник под ударами сабель, взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чавкая сапогами, навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка. Слышался грохот падающего дерева, и громадная, ветвистая, свистящая махина шлепалась во что-то мягкое и гибельное, и видно было при свете зажженного смолья, как темно-зеленая, поросшая ряской, поверхность вздувалась упругими волнами, подобно телу исполинского удава.

Там, цепляясь за сучья,— освещенные дымным пламенем, выхватывавшим из темноты искаженные лица, согнутые спины, чудовищные нагромождения ветвей,— в воде, в грязи, в гибели копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, потные, исцарапанные в кровь тела. Они утратили всякое ощущение времени, пространства, собственного тела, стыда, боли, усталости. Они тут же черпали шапками болотную, пропахнувшую лягушечьей икрой воду и пили ее торопливо и жадно, как раненые звери...

А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалась все слышнее и жарче. Бакланов одного за другим

слал людей и спрашивал: скоро ли?.. скоро?.. Он потерял до половины бойцов, потерял Дубова, истекшего кровью от бесчисленных ран, и медленно отступал, сдавая пядь за пядью. В конце концов он отошел к лозняку, который рубили для гати,— дальше отступать было некуда. Неприятельские пули теперь густо свистели над болотом. Несколько человек работающих было уже ранено,— Варя делала им перевязки. Лошади, напуганные выстрелами, неистово ржали и вздымались на дыбы; некоторые, оборвав повода, метались по тайге и, попав в трясину, жалобно взывали о помощи.

Потом партизаны, засевшие в лозняке, узнав, что гать окончена, бросились бежать. Бакланов, с ввалившимися щеками, воспаленными глазами, черный от порохового дыма, бежал за ними, угрожая опустошенным кольтом, и плакал от бешенства.

Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой упирающихся лошадей, отряд чуть не разом хлынул на плотину. Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как припадочные; задние, обезумев, лезли на передних; гать трещала, разлезалась. У выхода на противоположный берег сорвалась с гати лошадь Мечика, и ее вытаскивали веревками, с исступленной матерной бранью. Мечик судорожно вцепился в скользкий канат, дрожавший в его руках от лошадиного неистовства, и тянул, тянул, путаясь ногами в грязном вербняке. А когда лошадь вытащили наконец, он долго не мог распутать узел, стянувшийся вокруг ее передних ног, и в яростном наслаждении вцепился в него зубами — в этот горчайший узел, пропитанный запахом болота и отвратительной слизью.

Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко.

Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух.

Через некоторое время люди очнулись и поняли, что наступило утро. Тайга лежала перед ними в сверкающем розовом инее. В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубого неба,— чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Люди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные изуродованные руки, мокрых, из-

мученных лошадей, дымившихся нежным, тающим паром,— и удивились тому, что они сделали в эту ночь.

XVII. Девятнадцать

В пяти верстах от того места, где происходила переправа, через трясину был перекинут мост — там пролегал государственный тракт на Тудо-Ваку. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, что Левинсон не останется ночевать в селе, казаки устроили засаду на самом тракте, верстах в восьми от моста.

Они просидели там всю ночь, дожидаясь отряда, и слышали отдаленные орудийные залпы. Утром примчался вестовой с приказом — остаться на месте, так как неприятель, прорвавшись через трясину, идет по направлению к ним. А через каких-нибудь десять минут после того, как проехал вестовой, отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде и о том, что мимо только что промчался неприятельский вестовой, тоже вышел на Тудо-Вакский тракт.

Солнце уже поднялось над лесом. Иней давно растаял. Небо раскрылось в вышине, прозрачно-льдистое и голубое. Деревья в мокром сияющем золоте склонялись над дорогой. День занялся теплый, непохожий на осенний.

Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и чистую, сияющую красоту и не почувствовал ее. Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал и как бессилен он теперь сделать что-либо для этих людей, уныло плетущихся позади него. Они были еще единственно не безразличны, близки ему, эти измученные верные люди, ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что он ни на секунду не переставал чувствовать, что он чем-то обязан перед ними; но он, казалось, не мог уже ничего сделать для них, он уже не руководил ими, и только сами они еще не знали этого и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему вожаку. И это было как раз то самое страшное, чего он больше всего боялся, когда вчерашним утром думал о смерти Метелицы...

Он пытался взять себя в руки, сосредоточиться на чем-нибудь практически необходимом, но мысль его сбивалась и путалась, глаза слипались, и странные образы, обрывки воспоминаний, смутные ощущения окружающего, туманные и противоречивые, клубились в его сознании беспрерывно сменяющимся, беззвучным и бесплотным роем... «Зачем эта длинная, бесконечная дорога, и эта мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное мне теперь?.. Что я обязан теперь делать?.. Да, я обязан выйти в Тудо-Вакскую долину... вак...скую долину... как это странно — вак...скую долину... Но как я устал, как мне хочется спать! Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать?.. Он говорит — дозор... Да, да, и дозор... у него такая круглая и добрая голова, как у моего сына, и, конечно, нужно послать дозор, а уж потом спать... спать... и даже не такая, как у моего сына, а... что?..»

— Что ты сказал? — спросил он вдруг, подняв голову.

Рядом с ним ехал Бакланов.

— Я говорю, надо бы дозор послать.

— Да, да, надо послать: распорядись, пожалуйста...

Через минуту кто-то обогнал Левинсона усталой рысью,— Левинсон проводил глазами сгорбленную спину и узнал Мечика. Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом. Потом еще кто-то проехал мимо.

— Морозка! — крикнул Бакланов вслед уезжавшему.— Вы все-таки не теряйте друг дружку из виду...

«Разве он остался в живых? — подумал Левинсон.— А Дубов погиб... Бедный Дубов... Но что же случилось с Морозкой?.. Ах, да — это было с ним вчера вечером. Хорошо, что я не видел его тогда...»

Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся: Морозка ехал саженях в пятидесяти от него, отряд тоже был еще виден. Потом и отряд и Морозка скрылись за поворотом. Нивка не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее: он плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся.

Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросшим дубняком и кленом, еще хранившим багряную

листву. Нивка пугливо вздрагивала и жалась к кустам. На подъеме она пошла шагом. Мечик, задремавший в седле, больше не трогал ее. Иногда он приходил в себя и с недоумением видел вокруг все ту же непроходимую чащу. Ей не было ни конца, ни начала, как не было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному с окружающим миром состоянию, в котором он сам находился.

Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, прижав Мечика к каким-то гибким прутьям... Он вскинул голову, и сонное состояние мгновенно покинуло его, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса: на дороге в нескольких шагах от него стояли казаки.

— Слезай!.. — сказал один придушенным свистящим шепотом.

Кто-то схватил Нивку под уздцы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился куда-то под откос. Он больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил, поскользнулся,— несколько секунд, онемев от ужаса, барахтался на четвереньках и, выправившись наконец, побежал вдоль по оврагу, не чувствуя своего тела, хватаясь руками за что попало и делая невероятные прыжки. За ним гнались: сзади трещали кусты и кто-то ругался с злобными придыханиями...

Морозка, зная, что впереди еще один дозорный, тоже плохо следил за тем, что творилось вокруг него. Он находился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли и остается одно непосредственное желание отдыха — отдыха во что бы то ни стало. Он не думал больше ни о своей жизни, ни о Варе, ни о том, как будет относиться к нему Гончаренко, он даже не имел сил жалеть о смерти Дубова, хотя Дубов был одним из самых близких ему людей,— он думал только о том, когда же наконец откроется перед ним обетованная земля, где можно будет приклонить голову. Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и сеном. Он заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьется

молока с куском пахучего ржаного хлеба, а потом заберется на сеновал и крепко заснет, подвернув голову, напнув на пятки теплую шинель...

И когда внезапно выросли перед ним желтые околыши казачьих фуражек и Иуда попятился назад, всадив его в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами,— это радостное видение большой, залитой солнцем деревни так и слилось с мгновенным ощущением неслыханного гнусного предательства, только что совершенного здесь...

— Сбежал, гад...— сказал Морозка, вдруг с необычайной ясностью представив себе противные и чистые глаза Мечика и испытывая в то же время чувство щемящей тоскливой жалости к себе и к людям, которые ехали позади него.

Ему жаль было не того, что он умрет сейчас, то есть перестанет чувствовать, страдать и двигаться,— он даже не мог представить себя в таком необычайном и странном положении, потому что в эту минуту он еще жил, страдал и двигался,— но он ясно понял, что *никогда* не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности... Он выхватил револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил три раза, как было условлено...

В то же мгновенье что-то звучно сверкнуло, ахнуло, мир точно раскололся надвое, и он вместе с Иудой упал в кусты, запрокинув голову.

Когда Левинсон услышал выстрелы,— они прозвучали так неожиданно и были так невозможны в теперешнем его состоянии, что он даже не воспринял их. Он только тогда понял их значение, когда раздался залп по Морозке и лошади стали как вкопанные, вскинув головы, насторожив уши.

Он беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны, но в том едином, страшном немо-вопрошающем лице, в которое слились для него побледневшие и вытянувшиеся лица партизан,— он прочел то же единственное выражение беспомощности и страха... «Вот

оно — то, чего я боялся»,— подумал он и сделал такой жест рукой, точно искал и не нашел, за что бы ухватиться...

И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой простое, мальчишеское, немного даже наивное, но черное и погрубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова. Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в лошадиную холку, так что на ней явственно отпечатались его короткие мальчишеские пальцы,— напряженно смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой гибли лучшие люди из их отряда.

Левинсон вздрогнул и выпрямился, и что-то больно и сладко зазвенело в нем. Вдруг он выхватил шашку и тоже подался вперед с заблестевшими глазами.

— На прорыв, да? — хрипло спросил он у Бакланова, неожиданно подняв шашку над головой, так что она вся засияла на солнце. И каждый партизан, увидев ее, тоже вздрогнул и вытянулся на стременах.

Бакланов, свирепо покосившись на шашку, круто обернулся к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое, чего Левинсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение, подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставила его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним...

Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом, пригнувшись к седлам, выставив стремительные подбородки, и в глазах у них стояло то напряженное и страстное выражение, какое он видел у Бакланова.

Это было последнее связное впечатление, какое сохранилось у Левинсона, потому что в ту же секунду что-то ослепительно грохочущее обрушилось на него — ударило, завертело, смяло,— и он, уже не сознавая себя, но чувствуя, что еще живет, полетел над какой-то оранжевой, кипящей пропастью.

Мечик не оглядывался и не слышал погони, но он знал, что гонятся за ним, и когда один за другим прозвучали три выстрела и грянул залп, ему показалось,

что это стреляют в него, и он припустил еще быстрее. Внезапно овраг раздался неширокой лесистой долиной. Мечик сворачивал то вправо, то влево, пока вдруг снова не покатился куда-то под откос. В это время грянул новый залп, гораздо большей густоты и силы, потом еще и еще без перерыва,— весь лес заговорил и ожил.

«Ах, боже мой, боже мой... Ай-ай... боже мой...» — то шептал, то вскрикивал Мечик, вздрагивая от каждого нового оглушительного залпа и нарочно так жалко кривя свое исцарапанное лицо, как это делают дети, когда им хочется вызвать слезы. Но глаза его были отвратительно, постыдно сухи. Он все время бежал, напрягая последние силы.

Стрельба стала затихать, она точно направилась в другую сторону. Потом она и вовсе смолкла.

Мечик несколько раз оглянулся: погони больше не было. Ничто не нарушало той отдаленно гулкой тишины, что наступила вокруг. Он, задыхаясь, свалился за первым попавшимся кустом. Сердце его учащенно билось. Свернувшись калачиком, подложив под щеку кисти рук и напряженно глядя перед собой, он несколько минут лежал без движения. Шагах в десяти от него, на голой тоненькой березке, согнувшейся до самой земли и освещенной солнцем, сидел полосатый бурундучок и смотрел на него наивными желтоватыми глазками.

Вдруг Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко застонал. Бурундучок, испуганно пискнув, спрыгнул в траву. Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он крепко вцепился в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем покатился по земле... «Что я наделал... о-о-о... что я наделал,— повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней представляя себе истинное значение своего бегства, первых трех выстрелов и всей последующей стрельбы.— Что я наделал, как мог я это сделать,— я, такой хороший и честный и никому не желавший зла,— о-о-о... как мог я это сделать!»

Чем отвратительней и подлей выглядел его поступок, тем лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершения этого поступка.

И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо-грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе.

Он машинально вытащил револьвер и долго с недоумением и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что никогда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на свете он любил все-таки самого себя — свою белую и грязную немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки — даже самые отвратительные из них. И он с вороватым тихоньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь делать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман.

Он уже не стонал и не плакал. Закрыв лицо руками, он тихо лежал на животе, и все, что он пережил за последние месяцы, когда ушел из города, вновь проходило перед ним усталой и грустной чередой: его наивные мечтания, которых он стыдился теперь, боль первых встреч и первых ран, Морозка, госпиталь, старый Пика с серебряными волосиками, покойный Фролов, Варя с большими, грустными, неповторимыми глазами и этот последний ужасный переход через трясину, перед которым тускнело все остальное.

«Я не хочу больше переносить это»,— подумал Мечик с неожиданной прямотой и трезвостью, и ему стало очень жалко самого себя. «Я не в состоянии больше вынести это, я не могу больше жить такой низкой, нечеловеческой, ужасной жизнью»,— подумал он снова, чтобы еще сильней разжалобиться и в свете этих жалких мыслей схоронить собственную наготу и подлость.

Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить в себе личных надежд и радостей, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он совершенно свободен и может идти туда, где нет этой ужасной жизни и где никто не знает о его поступке. «Теперь я уйду в город, мне ничего не остается, как только уйти туда»,— подумал он, стараясь придать этому оттенок грустной необходимости и с трудом подавляя чувство радости, стыда и страха за то, что это может не осуществиться.

Солнце перевалило на ту сторону согнувшейся то-

пенькой березки,— она была теперь вся в тени. Мечик вынул револьвер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал родничок, умылся и сел возле него. Он все еще не решался выйти на дорогу. «Вдруг там белые?..» — думал он тоскливо. Слышно было, как тихо-тихо журчал в траве малюсенький родничок...

«А не все ли равно?» — вдруг подумал Мечик с той прямотой и трезвостью, которую он теперь сам умел находить под ворохом всяких добрых и жалостливых мыслей и чувствований.

Он глубоко вздохнул, застегнул рубашку и медленно побрел в том направлении, где остался Тудо-Вакский тракт.

Левинсон не знал, сколько времени длилось его полусознательное состояние,— ему казалось, что очень долго, на самом деле оно длилось не больше минуты,— но, когда он очнулся, он, к удивлению своему, почувствовал, что по-прежнему сидит в седле, только в руке не было шашки. Перед ним неслась черногривая голова его коня с окровавленным ухом.

Тут он впервые услышал стрельбу и понял, что это стреляют по ним,— пули густо визжали над головой,— но он понял также, что это стреляют сзади и что самый страшный момент тоже остался позади. В это мгновение еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренку. У подрывника вся щека была в крови. Левинсон вспомнил об отряде и оглянулся, но никакого отряда не было: вся дорога была усеяна конскими и людскими трупами, несколько всадников, во главе с Кубраком, с трудом поспешали за Левинсоном, дальше виднелись еще небольшие группки, они быстро таяли. Кто-то, на хромающей лошади, далеко отстал, махал рукой и кричал. Его окружили люди в желтых околышах и стали бить прикладами,— он пошатнулся и упал. Левинсон сморщился и отвернулся.

В эту минуту он, вместе с Варей и Гончаренкой, достиг поворота, и стрельба немного утихла; пули больше не визжали над ухом. Левинсон машинально стал сдерживать жеребца. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Гончаренко насчитал девятнадцать человек — с собой и Левинсоном. Они долго мча-

лись под уклон, без единого возгласа, упершись затаившими ужас, но уже радующимися глазами в то узкое, желтое молчаливое пространство, что стремительно бежало перед ними, как рыжий загнанный пес.

Постепенно лошади перешли на рысь, и стали различимы отдельные обгорелые пни, кусты, верстовые столбы, ясное небо вдали над лесом. Потом лошади пошли шагом.

Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Иногда он беспомощно оглядывался, будто хотел что-то спросить и не мог вспомнить, и странно, мучительно смотрел на всех долгим, невидящим взглядом. Вдруг он круто осадил лошадь, обернулся и впервые совершенно осмысленно посмотрел на людей своими большими, глубокими, синими глазами. Восемнадцать человек остановились, как один. Стало очень тихо.

— Где Бакланов? — спросил Левинсон.

Восемнадцать человек смотрели на него молча и растерянно.

— Убили Бакланова...— сказал наконец Гончаренко и строго посмотрел на свою большую, с узловатыми пальцами, руку, державшую повод.

Варя, ссутулившаяся рядом с ним, вдруг упала на шею лошади и громко, истерически заплакала,— ее длинные растрепавшиеся косы свесились чуть не до земли и вздрагивали. Лошадь устало повела ушами и подобрала отвисшую губу. Чиж, покосившись на Варю, тоже всхлипнул и отвернулся.

Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился, и все вдруг заметили, что он очень слаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал своей слабости; он сидел потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде... Люди стали смотреть в сторону, чтобы самим не расстроиться.

Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом.

— Не плачь, уж чего уж...— виновато сказал Гончаренко, подняв Варю за плечо.

Всякий раз, как Левинсону удавалось забыться, он начинал снова растерянно оглядываться и, вспомнив, что Бакланова нет, снова начинал плакать.

Так выехали они из леса — все девятнадцать.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно — простором высокого голубого неба и ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне, у верболаза, сквозь который синела полноводная речица,— красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя — веселая, звучная и хлопотливая — жизнь. Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина, из куржавого облака блесткой половы и пыли вырывались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена бело-розовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко.

Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом,— и перестал плакать; нужно было жить и исполнять свои обязанности.

Содержание

И. Дубровина. О революции, коллективе и человеческой личности . . . 3
I. Морозка . . . 23
II. Мечик . . . 29
III. Шестое чувство . . . 35
IV. Одни . . . 40
V. Мужики и «угольное племя» . . . 44
VI. Левинсон . . . 53
VII. Враги . . . 61
VIII. Первый ход . . . 67
IX. Мечик в отряде . . . 77
X. Начало разгрома . . . 86
XI. Страда . . . 96
XII. Пути-дороги . . . 105
XIII. Груз . . . 117
XIV. Разведка Метелицы . . . 128
XV. Три смерти . . . 139
XVI. Трясина . . . 153
XVII. Девятнадцать . . . 165

Фадеев А. А.
Ф15 Разгром. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1980.— 176 с.

ИСБН

Переиздание известного романа.

Ф $\frac{70803-087}{М158(03)-80}$ Р2

ИБ № 676

Александр Александрович Фадеев

РАЗГРОМ

Редактор *С. В. Марченко*
Художник *А. В. Вохмин*
Художественный редактор *В. С. Солдатов*
Технические редакторы *М. А. Ульянова, Т. Н. Черепанова*
Корректоры *М. А. Казанцева, Т. Г. Калугина*

Сдано в набор 01.08.79. Подписано в печать 25.02.80. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 9,2. Уч.-изд. л. 9,4. Тираж 150 000. Заказ 464. Цена 40 коп. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

40 коп.



